

ИРИНА
МУРАВЬЕВА

ПОРТРЕТ АЛТОВИТИ



Высокая проза

Эта проза странная. Издатели пытаются ее уложить в жанр «женской прозы», а жанр для нее маловат, трещит по швам. Слишком живое, слишком настоящее.

Михаил Шишкин

Ирина Муравьева — самый, по-моему, интересный русский зарубежный прозаик новейшего времени. Безупречная память, тонкий слух, высокопрофессиональная наблюдательность и дар сострадания — что еще нужно хорошему писателю? Всем этим обладает Муравьева. Бог ей в помощь.

Александр Кавалов

Ирина Лазаревна Муравьева

Портрет Алтовити

*Текст предоставлен издательством «Эксмо»
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=178918
Портрет Алтовити: Эксмо; М.: 2009
ISBN 978-5-699-33746-0*

Аннотация

Сильна как смерть – это о ней, именно об этой любви. Для которой ничего не значит расстояние Нью-Йорк – Москва. И время. И возраст. И непрерывная цепь страданий. Но если сам человек после выпавших ему потрясений не может остаться прежним, останется ли прежней любовь? Действительно ли «что было, то и теперь есть», как сказано в Библии? Герои романа «Портрет Алтовити» видят, что всё в этой жизни – люди, события, грехи и ошибки – непостижимо и трагически связано, но стараются вырваться из замкнутого круга. Потому что верят – кроме этой, неправильно прожитой, есть другая, подлинная жизнь. Именно это означает имя юноши с портрета Рафаэля...

Содержание

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Часть первая | 4 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 117 |

Ирина Муравьева

Портрет Алтовити

Часть первая

Доктор Груберт почувствовал взгляд на своем затылке и оглянулся.

Она была в черном открытом платье, бисерная сумка через левое плечо.

Может быть, японка, хотя для японки слишком высока. Кроме того, несмотря на восточные глаза и высокие скулы, очень белая кожа и удлинённый овал говорили о том, что к ее японской или китайской примешалась сильная северная кровь.

Он успел подумать, что это лицо напоминает один из многочисленных портретов Модильяни, и хотел было уже отвернуться, но она продолжала смотреть на него так, словно во всем зале не было никого, кроме них двоих.

Доктор Груберт растерялся.

К ней подошла угольно загорелая старуха в блестящих шароварах, которую он много раз видел по телевизору, но кто она, не помнил. Старуха слегка было заслонила ее от доктора Груберта, но она, улыбаясь, отступила на шаг в сторону.

Сверкнув шароварами, старуха отошла.

* * *

...Яркая белизна, лоб и виски отливают перламутром, нет, это не косметика, меня не проведешь, грудь маленькая, сошла бы для подростка, руки худы, она слегка сутулится, но шея у нее длинная и молодая. Родинка на открытом плече, еще две яркие родинки на ключице – это хорошо, иначе кожа казалась бы слишком фарфоровой, неживой.

* * *

...Помахала кому-то рукой, опять улыбнулась. Несмотря на улыбку, лицо осталось грустным.

Наконец она отвела глаза и сделала несколько шагов по направлению к столу с фруктами и бутылками.

Склонила голову над тарелками, выбирая. Высокая прическа, шелковая белизна спины.

Облокотилась о краешек стола худой рукой.

– А я смотрю и думаю: вы или не вы! – лающий голос над ухом.

Доктор Груберт оглянулся.

Бил Лекае. Теперь не отвяжешься.

– Кто это? – спросил доктор Груберт, указывая подбородком на женщину с бисерной сумкой.

– Эта? – усмехнулся Бил, выставив надраенные лошадиные зубы. – Моя старинная приятельница. Крепкий орешек. Мать ее была русской. Из русских дворян, знаете. Я ее еще застал. Любопытная вообще семейка, я все хотел ее описать. Дело в том, что...

– Кто она?

– Издательство «Гланц и Мин», не слышали? Муж был родом из Швейцарии, профессор славистики, они жили в Москве года два, издательство какое-то время процветало, много печатали вещей из России, да и не только из России, из всей Восточной Европы, и год, что ли, назад муж умер. Странный был тип. Но самое ужасное – это, конечно, история с дочкой. Вот уж действительно: горе! – Лекае сморщился и покачал головой. – В наших кругах о них много сплетничали.

– Почему?

– *Belle femme aime jouer de malheur!* Красивая женщина притягивает несчастья! – хохотнул Лекае, словно с помощью французской пословицы решил забыть обо всем неприятном.

Доктор Груберт не спросил, что за история с дочкой.

– Познакомить? – оживился Лекае. – Пошли!

Она встретила их приближение улыбкой, но улыбка ее показалась слишком восторженной и не понравилась доктору Груберту.

– Позволь представить тебе доктора Саймона Груберта, –

развязно заговорил Лекае, целуя ее в щеку, – ты, моя дорогая, прелестно выглядишь...

– А это становится все труднее, – она через силу, как показалось доктору Груберту, улыбнулась темно-малиновыми губами, слишком яркими на таком нежном лице, и протянула руку.

Рука была сухой и горячей.

– Очень рада, – сказала она, – Ева Мин.

Глаза ее вели себя так же, как губы: улыбались через силу.

Она поправила прическу, взглянула на него исподлобья.

...Какие красивые у нее эти родинки: на плече и на правой ключице.

– Скоро приволоку тебе свой новый роман. – Лекае выпучил глаза. – Нарочно мотался в Россию...

– В Россию?

– Ну да. Выдаю вам обоим огромную тайну... – Лекае зажал рот руками и оглянулся, словно боясь, что его подслушивают. – Сюжет такой, что требовал моего присутствия...

– Где? – спросила она. – В Москве?

Доктор Груберт обратил внимание, что она очень тонка в талии, но кожа ее белых рук суховата и выдает возраст.

– В какой Москве? В несусветной глуши! – Лекае в ужасе схватился за подбородок. – Нижний Новгород! Недалеко от Москвы, но провинция, деревня, хуже Огайо! В гостинице выдавали по одному полотенцу на сутки, такому вот махонькому, – показал руками размер, – спать невозможно от

духоты, никаких кондиционеров, но я, представьте себе, не только выжил, но и получил огромное удовольствие!

– Каким образом? – поинтересовался доктор Груберт.

– Я переехал на квартиру к следователю, который вел дело моей героини, и мы отлично проводили время! У меня была своя комната с небольшой терраской. Каждый день засиживались допоздна, выпивали. Жена его варила нам шикарные борщи! Этот парень мне многое рассказал. Без него я бы не разобрался. Правда, он хитер, но русские вообще хитроваты.

– Комплимент мне, надеюсь? – засмеялась Ева.

– Ева, как я уже сказал, наполовину русская, – заговорщицки сообщил Лекае, – попросите ее рассказать вам...

Он не закончил, потому что Ева перебила его:

– Так о чем же роман?

– Роман! – встрепенулся Лекае и так энергично переступил с ноги на ногу, что лакированные башмаки его скрипнули, словно запросив пощады. – О, роман будет потрясающим! Ты знаешь, я не хвастун, но в данном случае работает тема. Пишу от лица простой русской женщины, жительницы города Владимира, которая убила двоих любовников. Такая, я бы сказал, вамп-леди. Что скажете? Убила двоих, и никто ничего не подозревал, пока с третьим не вышла осечка!

– Осечка? – Ева положила в рот продолговатую виноградину, но не проглотила ее, зажала между зубами.

На черной виноградине выступила капля черного сока.

– Третьего она полюбила. У этих монстров ведь ино-

гда возникают свои привязанности, все это непредсказуемо, – захлебнулся Лекае и, жестикулируя, выплеснул на пол немного вина. – Я тут консультировался с психиатрами. И вот, представьте себе, она полюбила третьего, который был моложе ее, кажется, на восемнадцать лет, а ей – тридцать восемь, хотя по виду гораздо старше, я бы ей дал не меньше сорока пяти...

– Красивая? – спросил доктор Груберт.

– Ну, как вам сказать? Славянское лицо, широкие скулы, глаза немножко раскосые – у них там, в России, были татары, триста лет, если не больше, все, конечно, перемешалось, отсюда и дикость! Дикость! А так, конечно, с породой: коса, грудь, выпуклые губы, но глаза! Глаза сумасшедшей! Меня не обманешь!

– Как же она убивала? – нахмурилась Ева. – И, главное, за что?

– Ни-ни-ни! – отшатнулся Лекае и снова плеснул вином на пол. – Вот этого я не расскажу! Только в романе! Причем на подлинном фактическом материале! Я перевоплощаюсь, представьте себе! Все от ее лица! Меня нет! Я – русская гражданка, жительница Владимира, Катерина Сливкина, имя, конечно, изменено, но любопытно, что «Сливкина» – это по-английски что-то вроде «creamer»! Двое детей, мальчик и девочка, приличный муж, учитель физкультуры в школе. А любовников между тем убила! Двоих! Дала им выпить снотворное и потом ввела инсулин, смертельную дозу!

Ева Мин вдруг закашлялась и ярко покраснела.

– Откуда у нее инсулин? – спросил доктор Груберт.

– Ах, я и не сказал! – подпрыгнул Лекае. – Она работала главной медсестрой в большом госпитале, а там такой беспорядок, в России! Везде, и в госпиталях тоже! Ничего не стоит украсть, отлить, отсыпать, никто ничего не считает!

– И весь роман будет от первого лица? – Доктору Груберту вдруг захотелось, чтобы Лекае с его брызгающей во все стороны разноцветной слюной и запахом копченостей изо рта оставил их в покое.

– Да! От начала и до конца! До смертной казни, до того, как преступница в последний раз услышит человеческий голос! То есть до окончательного, представьте себе, конца! До наступления тьмы!

– И не страшно вам, Бил? – усмехнулся доктор Груберт.

Ева Мин внимательно посмотрела на него исподлобья, словно хотела убедиться в том, что правильно расслышала эту реплику.

– А вы, мистер Груберт, – медленно спросила она, – будь вы писателем, начали бы, наверное, с того, как преступница попадает сразу в ад?

Доктор Груберт пожал плечами.

– Я не представляю себе ада, – отводя глаза от ее слишком блестящих глаз, сказал он. – Думаю, что там, – неопределенно помахал рукой в воздухе, – другие дела, менее понятные. Ад – слишком уж человеческая идея.

– А рай?

– Рай – совсем не по моей части. Я – человек грешный... Лекае смотрел на них с удивлением.

– Пойдемте потанцуем, – вдруг сказал ей доктор Груберт.

Залпом допил свое шампанское, поставил на стол пустой бокал и взял ее за руку.

Горячее сухое тепло ее пальцев перебежало в его ладонь, ладонь загорелась. Они медленно задвигались в такт музыке. Оказалось, что она не так уж высока: лоб его почти упирался в ее высоко зачесанные блестящие волосы.

Волосы пахли жасмином.

* * *

...Накануне его дня рождения они, как обычно, приехали в Сэндвич к родителям.

Было совсем рано, когда доктор Груберт неожиданно проснулся и, испугавшись чего-то, вскочил с постели.

Подошел к окну комнаты и тут же – сквозь слабый, дрожащий дождь – увидел их.

Мать стояла над отцом, который лежал рядом с кустом жасмина. Она не плакала, не звала на помощь и была так же неподвижна, как он.

Серый платок, накинутый поверх серого платья, делал ее похожей на одно из тех тусклых гипсовых украшений, которые стоят в городском парке Сэндвича.

Куст жасмина рос у самого крыльца. Он был густо усыпан цветами, запах которых проникал даже сквозь закрытые окна автомобиля.

Отец всегда говорил, что запах жасмина и ландышей возвращает ему детство.

* * *

Связь между смертью отца и этим запахом жасмина была настолько сильной, что доктор Груберт приостановился.

Черные волосы Евы Мин коснулись его рта.

– Я немножко не понял, – смутившись, спросил он, – ваша мать была русской?

– Они бежали от большевиков. Кажется, в двадцатом или двадцать первом году попали в Китай. Там была большая русская колония.

– Вы и родились в Китае?

– Вы, наверное, полагаете, что мне лет семьдесят? – Она засмеялась. – Нет, я родилась в Нью-Йорке.

– Часто бываете в России?

– Не очень, – неохотно ответила она и тут же сменила тему: – А я и не спросила, какой именно вы доктор? Терапевт?

– Хирург. Пластическая и лицевая хирургия.

– Не может быть! – воскликнула она. Он уловил фальшь в ее восклицании. – А я как раз ищу именно такого хирурга!

– Вот так всегда, – усмехнулся он, – вы ищите хирурга, а

я хотел за вами приударить.

Ему стало неприятно, что он так сказал.

Нахально и неумно.

Она испуганно улыбнулась.

– Вы знаете, я ведь вас увидела первая. Я хотела, чтобы вы подошли.

«Зачем?» – чуть было не спросил ее доктор Груберт.

– Я позвоню вам в клинику, – сказала она. – Можно, я позвоню вам в качестве пациентки?

Они остановились.

Музыка, оказывается, уже закончилась.

Ева засмеялась, подняла к нему лицо, и волосы ее снова коснулись его рта.

– Смотрите, – шепнула она, – никто уже и не танцует. Только мы с вами.

Прикосновение этих волос и душный знакомый запах словно парализовали его.

– Завтра я с восьми у себя в клинике. Звоните.

* * *

Она записалась на прием и через два дня пришла. Волосы ее были собраны в лоснящийся черный узел над длинной шеей. Она была слишком высока для китайки. Да, слишком высока. Но тоска на ее удлинённом фарфоровом лице уже не бросалась в глаза так сильно, как на рождественском вечере.

– Я хотела бы сделать пластическую операцию. Не сейчас, но, может быть, через полгода... – Торопливо улыбнулась: – Сэкономлю немножко и приду.

Он удивился этому странному тону.

Пришла на консультацию – пусть задает вопросы, какое мне дело до ее денежных обстоятельств?

– Если вы спрашиваете моего мнения, – сухо сказал доктор Груберт, – я советовал бы подождать. Мы вообще не рекомендуем делать эти операции до пятидесяти пяти лет, хотя...

Она перебила его:

– Но я ведь не для того, чтобы выглядеть моложе.

– А для чего? – нахмурился он.

– Для того, чтобы выглядеть иначе. – У нее забегали глаза. – Насколько это возможно, конечно.

«Еще одна психопатка», – с облегчением подумал доктор Груберт.

– Вы, конечно, решили, что я психопатка?

– Нет, – смутившись, пробормотал доктор Груберт, – можно, конечно, произвести некоторые манипуляции, освежить веки...

– Веки? – глаза остановились, и вдруг она спросила совсем другим, ясным и спокойным, голосом: – Могу ли я быть с вами откровенной?

Лучше всего было бы сказать ей что-нибудь, например, такое: «Не стоит».

Или: «Я не люблю смаковать тайны своих пациентов».

Вместо этого он сказал:

– Я рад буду помочь вам, миссис Мин.

– Не смогу сразу объяснить вам... – вздохнула она. – Бы-
вает, что человек живет-живет, с ним что-то происходит, и,
наконец, он чувствует, что больше не может. И тогда насту-
пает время, – она сильно покраснела, – когда тебе все меша-
ет. Лицо, тело... Не говоря уж о душе.

– К сожалению, я не сторонник... Бездны подсознания,
психоанализ... Я не уверен, что...

– Вы, конечно, не заинтересованы в пациентах, – перебила
она и засмеялась, – но чтобы уж так отпугивать!

– Я разве вас отпугиваю?

– Вы думаете, что я сумасшедшая, – полувопросительно
сказала она.

Доктор Груберт отрицательно замотал головой.

– Думаете. – Она встала. – А мне просто хотелось прийти
к вам и поговорить. Вот я пришла.

Он чувствовал, что не хочет ее отпускать.

– Подождите, – сказал он. – Куда вы торопитесь...

Она наклонила голову.

Выражение привычной затравленности, ненужное,
неуместное на таком красивом лице, опять удивило его.

– Может быть, мы пообедаем сегодня вместе? – предло-
жил доктор Груберт.

Дождь заливал вечерний Нью-Йорк, смывая остатки вчерашнего снега. Потоки черной воды неслись по улицам. Люди под зонтами возбужденно ловили такси, стоя по щиколотку в переливающихся лужах.

Пока он шел до стоянки, ноги успели как следует промокнуть. Машины передвигались медленно, скользили над мостовыми, в небе сверкали молнии.

У доктора Груберта сильно стучало сердце.

– Не хочется, – сказала Ева Мин, когда, освободившись от мокрых пальто, они усаживались за столик, – чтобы вы приняли меня за одну из своих многочисленных идиоток. Не обижайтесь, я про ваших пациенток говорю.

– Идиоток, конечно, много, – доктор Груберт приподнялся, чтобы повесить ее пальто на вешалку.

– Я хотела бы с вами поговорить, – вдруг сказала она. – Посоветоваться, может быть.

– Почему именно со мной?

– Потому что.

Точно так же отвечал иногда Майкл, когда был маленьким.

– Я знала, кто вы такой и чем занимаетесь. – У нее забежали глаза. – Простите меня за вранье. Месяц назад я попала на вашу лекцию в Принстоне. Совершенно случайно. Ушла

под впечатлением.

Бред.

Неужели – если она сидела на лекции – он мог ее не заметить?

– Что же вас так потрясло в пересадке кожи? – усмехнулся доктор Груберт.

– Ничего. Но меня заинтересовали некоторые наблюдения о связи внешности с психикой.

Запах жасмина, словно осмысленное, капризное существо, вырвался из лоснящейся черноты ее волос и изо всех сил вцепился в него.

– Вы можете мне даже не отвечать, – сказала она. – То, что я хочу поговорить с вами, **вас** ведь ни к чему не обязывает.

Подошла официантка, высокая и полная, с ярко-золотистыми веками, в розовом, с черными разводами, кимоно.

– Заказывайте, Ева, – вздохнул доктор Груберт.

Заказали.

Официантка исчезла и через минуту вернулась с чаем и графинчиком сакэ.

– За вас, – сказал доктор Груберт.

– За нас, – поправила она. – Будете меня слушать?

– Похоже, что ничего другого, – пошутил он, – мне и не остается.

Она не ответила на его улыбку.

– Мои родители, – сказала она, – прожили бок о бок сорок шесть лет. Мама была тяжелым человеком. Тяжелым и свое-

вольным. Умирая, пожелала, чтобы из похоронного бюро доставили список услуг. Сама выбрала себе гроб и вычеркнула из списка подголовную подушечку.

– Что? – оторопел доктор Груберт. – Кого вычеркнула?

– Подушечку. Кладут покойнику под голову. Восемнадцать долларов. Дело не в скупости, дело в принципе. А отец был тихим человеком, очень тихим. Врачом из Харбина. Семья моей матери – я вам, кажется, это уже сказала – попала в Китай после революции. В юности мама болела туберкулезом, и мой отец ее вылечил. Она предложила ему жениться на ней в качестве благодарности. Отец ее очень любил. А она его всю жизнь терпела. Тут, я, конечно, немножко комкаю. – Глаза у нее опять забегали. – Но сейчас это и неважно. Когда отец умер, мама не похоронила его, а поставила урну с прахом в своей спальне.

– Урну? В спальне? Зачем?

– Трудно ответить. Может быть, привыкла к нему за сорок шесть лет настолько, что просто не смогла расстаться, не знаю. Может быть, чувствовала себя виноватой перед ним, были и на это свои причины. Он ей рабски служил.

– Жутковато, – пробормотал доктор Груберт, – ничего нет беспросветнее, чем подноготная обыкновенной семьи. Я сам прошел через развод.

– А, – прошептала она, – я не знала.

Разговор становился сложным, и доктор Груберт не был уверен, нужен ли ему такой разговор с совершенно чужой,

хотя и очень красивой, женщиной.

– Я похожа на отца, – продолжала она, – а сестра моя Зоя, старше на четыре года, была вылитой матерью, только еще красивей. Такой красивой – проходу не давали. У нас вообще был очень странный дом. Мы с отцом и сестрой вели себя тихо-тихо, а мать нами распоряжалась. У вас есть дети?

– Сын, – громко сглотнув, ответил он. – Майкл. Ему двадцать два года.

– Чем он занимается?

– Он болен. Сейчас он в клинике душевных заболеваний. В Филадельфии.

– Простите, – прошептала она, и ему стало неприятно, что она просит прощения, словно они говорят об умершем.

– А чем занимается ваша сестра? – спросил он, чтобы перевести разговор.

– Моя сестра? – вздрогнула она. – Ее нет в живых, она погибла.

– Погибла? Каким образом?

– Она погибла, – повторила Ева. – Это случилось из-за меня.

Доктор Груберт слегка отшатнулся.

– Мне было шестнадцать, – не давая ему опомниться, говорила она, – и у моей сестры появился жених. Звали его Иван Щербатов. Тоже из русской семьи, родился в Париже. Я влюбилась в него так, что заболела. Заболела по-настоящему. Есть перестала. Спать. Рвота от каждого куска. Если он

подходил близко ко мне, я чуть в обморок не падала. Все замечали, кроме него. Он вообще ничего, кроме Зои, не видел. Так продолжалось примерно два-три месяца. Однажды я застала их в гостиной. Родителей в городе не было. Я увидела их спящих на диване. Спали они так крепко, что не проснулись даже тогда, когда я приоткрыла дверь. И я этого не вынесла. Просто не вынесла – и все! Побежала к себе наверх. Не знаю, что я собиралась сделать. Скорее всего, конечно, ничего. Но что-то со мной происходило, ад какой-то. Подошла к зеркалу. Серая, страшная, как скелет. А они там, внизу, спят, обнявшись. И я вдруг сказала... Жуткую вещь я тогда сказала...

– Какую вещь? – избегая встречаться с ней глазами, пробормотал доктор Груберт.

– «Пусть они умрут!» – вот какую. И повторила это. Много раз, не помню, сколько, очень много.

Она закрыла лоб и глаза обеими руками.

Пальцы были такими же белыми, как и лицо.

– Через две недели их не стало. Полетели после свадьбы в Италию и разбились неподалеку от Рима. Хоронили мы то, что от них осталось. В черных мешках. Пластиковых таких, знаете? Похожи на мусорные.

– О-ох... – вздохнул доктор Груберт.

– Зоя мне часто снилась первое время. Все время снилась. С младенцем на руках. Может быть, она уже тогда была беременна, я не знаю.

Моргая золотистыми веками, подплыла официантка. Развела рукава кимоно, подлила в стаканы сверкнувшую льдинками воду.

— Ева, — осторожно сказал доктор Груберт, — вы напрасно себя обвиняете. Ваши детские слова никакого отношения не имели к тому, что...

— Что? — вскрикнула она, и официантка, уже отходившая от их столика, испуганно обернулась. — Я же убила их!

— При чем здесь вы...

— Как? — захлебнулась она. — Что значит: при чем? Я пожелала им смерти. Вот при чем. И их не стало.

— Но ведь на том же самом самолете были другие люди, которым вы не желали смерти! И они тоже погибли!

— Они погибли по каким-то своим причинам, о них я ничего не знаю. А моя сестра и Иван погибли потому, что я...

Она всхлипнула и посмотрела на него исподлобья. Он уже знал этот ее особенный затравленный взгляд.

— Ева, спорить с вами бесполезно. Это невроз — больше ничего. Я не специалист по неврозам. Но я понимаю, что произошло. Вы были очень влюблены в мужа сестры. Шестнадцать лет. Убийственный возраст. И что-то вам... Ну, скажем, померещилось. Вам кажется, что вы накликали... Ничего этого не было. — Доктор Груберт потер рукой лоб. — Но у людей с воображением такие вещи застревают в сознании. Мне очень жаль вас... Жаль, что вы с этим живете...

— Если бы только с этим, — сказала она дрожащими губа-

ми.

– Десерт? – с привычной фамильярностью спросила официантка.

– Спасибо, не надо, – торопливо отозвалась Ева и отодвинула от себя почти нетронутую тарелку. – Хотите выпить кофе у меня? У меня дома?

Она подалась вперед и вдруг протянула ему обе руки через столик.

* * *

Квартира Евы Мин оказалась в самом центре Гринвич Виллидж и занимала второй этаж красного кирпичного особняка.

– Располагайтесь, – сказала она, – сейчас я сварю вам кофе.

Он заметил, что она нервничает так же, как и он сам.

Доктор Груберт опустился на громоздкий диван у окна. Гостиная была обставлена со спокойным вкусом, только одна картина в простенке показалась ему странной, почти уродливой: по серому глухому фону были разбросаны плачущие лица людей и морды животных с окровавленными глазами.

Она перехватила его взгляд:

– Это моего мужа.

– Он разве художником был?

– Нет. Но незадолго до смерти ему показалось, что он мо-

жет писать картины. Это все, что он успел.

Свет настольной лампы выхватил ее худую руку с длинными пальцами, которыми она торопливо схватилась за ручку, хотя дверь была открыта.

– Как я рада, что вы здесь, – прошептала она и вышла.

Доктор Груберт встал с дивана и подошел к картине. Лица людей и морды животных были сдавлены в слоистое темное месиво, внутри которого белели только зрачки.

Засохшие бурые и черные сгустки масла выглядели как сгустки крови и должны были бы быть такими же, как кровь, солеными на вкус.

Минут через десять она вернулась – уже не в том платье, в каком была в ресторане, а в чем-то легком, черном, похожем на длинную тунику. В руках у нее был поднос с двумя чашками и длинный узкий кофейник.

– Мне показалось, – сказал он, чувствуя, что волнуется все сильнее и сильнее, – что у вас за спиной должны быть крылья. Это платье...

– Это у меня-то крылья?

– Трудно поверить, – не выдержал он, – что два дня назад я даже не подозревал о вашем существовании.

– Вам с сахаром? – спросила она.

– Мне – да, то есть – нет, я уже не пью с сахаром.

– Почему?

– Диабет, начальная стадия. Я на таблетках.

– О! – вздрогнула она. – И у вас тоже! У моего мужа был

диабет, тяжелый, у матери был диабет. Считалось, что от диабета она так и чудачит.

– Что же она делала?

– Ой, много чего! У нее был дом в Нью-Рашел. Он и сейчас есть. Она там разводила розы. Вдруг получаю письмо – она любила писать мне письма: белки объели все розы, и она купила водяной пистолет. Стреляет в белок из водяного пистолета.

Доктор Груберт с облегчением засмеялся.

Она откинулась на спинку дивана, скрестив над головой руки. Он торопливо схватил чашку с подноса.

– Не обожгитесь, – прошептала она.

Черный шелк прошелестел по его колену, и торопливая складка ее странного платья замерла между ними, будто за-
таилась.

Складка была живой. Она была частью горячего бедра, прильнувшего к нему в ожидании.

Доктор Груберт смотрел прямо перед собой, не решаясь скосить глаз туда, где было ее лицо и волосы.

– Что с вами? – спросила она.

Не глядя, он ощутил, как рядом, совсем близко от его губ, раскрылись ее губы.

Тогда он резко повернулся к ней всем телом. Она встретила его испуганный взгляд своим блестящим взглядом.

– Перестаньте, – попросил он.

– Что перестать? Я ничего не делаю!

– Делаете! – он скрипнул зубами. – Вы видите, что со мной!

– Вижу. – Она медленно провела по его лицу своей худой рукой. – Не бойтесь меня.

* * *

Он уже ничего не соображал.

Его столкнули вниз, внизу был огонь.

Ничего, кроме огня, который охватил его, причиняя сильную боль и одновременно вызывая в нем восторг от никогда не испытанной прежде силы.

От огня нужно было спастись.

Поэтому он и бросился к ее телу, как зверь, на котором горит шерсть, бросается к реке.

Огонь не погас от воды, но прошла боль ожога.

Что-то ужасное, безобразное, разом уничтожившее его, поднялось изнутри.

Он перестал быть Саймоном Грубертом, вежливым человеком с седыми волосами и внимательным взглядом. Он был горящим зверем и плыл в воде.

Он был слепым и не знал, куда плывет, хотя плыл быстро, не останавливаясь.



...Зрение вернулось не сразу. Но даже когда оно вернулось, доктор Груберт видел сначала только дерево, полное сухого черного блеска. Оно глубоко дышало под дождем. Тогда он понял, что смотрит в окно.

Едва знакомая ему женщина неподвижно лежала рядом. Он не смотрел на нее, но чувствовал, как море, шумящее в ушах, блаженство ее близости.

Ему хотелось спать, но жаль было расставаться с этим блаженным шумом. Не поворачивая головы, он скосил глаза в ее сторону.

Длинное тонкое тело перламутрово белело в притушенном свете, и закинутая на подушку голова, правая рука, согнутая в локте и закрывавшая лоб, даже дыхание, — все вместе вдруг показалось ему настолько красивым, что он, не выдержав, поцеловал этот согнутый локоть и хотел было отвести его, как она вдруг резко поднялась, отбросила на спину спутавшиеся волосы и молча пошла к двери.

От диванных подушек шел сильный запах жасмина.

Как человек, который потерял сознание в незнакомом месте и теперь возвращается к жизни, с трудом припоминая, что было последним из увиденного им за секунду до падения, так доктор Груберт попытался понять, как он очутился в постели с той, которая только сегодня утром пришла к

нему в клинику в качестве пациентки.

Судя по шуму воды из крана, он догадался, что она принимает душ. Тогда он вскочил с дивана и торопливо оделся.

Она не возвращалась. Он сидел и смотрел, как его лицо и галстук отражаются в зеркале.

Самым отвратительным было выражение непереносимого стыда, от которого лицо вдруг потеряло симметрию и стало казаться, что один глаз выше другого.

...Ева вошла бесшумно, в той же самой разлетающейся тунике. На плече ее было почему-то мокрое полотенце.

Доктор Груберт вскочил.

– Все хорошо, – сказала она.

– Нам нужно поговорить... – начал было доктор Груберт, чувствуя, что этого совсем не нужно.

– Сейчас поздно, – мягко перебила она, – вызови такси и езжай домой.

– Я увижу тебя завтра? – спросил он и тут же подумал: «А захочу ли я этого?»

– А ты захочешь?

– Думаю, что да.

– Я должна быть уверена в этом, – напирая на слово «должна», сказала она.

– Зачем?

– У тебя кто-то есть? – Она подняла брови.

Доктор Груберт пожал плечами:

– Мы с женой разъехались. Произошло это недавно, хотя

чужими друг другу мы стали давно, каждый из нас жил своей жизнью, и за это время у меня были женщины, но ничего серьезного. Я не слишком влюбчив, во-первых, и, во-вторых, много работы...

– Вот хорошо. – Она подняла глаза. – И со мной будет так же.

– Нет, так не будет.

Полотенце упало на пол.

– Ева, – он нагнулся и поднял его. – Я ведь не вчера родился, и мне трудно поверить, что вы в меня с первого взгляда влюбились, как девочка в киноактера. Почему вы вообще пришли ко мне?

Тут только он заметил, что она вся дрожит.

– Ева! Как я здесь очутился?

Горло перехватило, и доктор Груберт выговорил «очичился».

– Я вам все объясню потом, – пробормотала она.

Он отступил назад, прислонился затылком к стене.

– Дай мне уйти.

– Бойтесь меня?

– Я думаю, что лучше уйти, – отводя глаза от ее губ, сказал он, – я действительно ничего не понимаю.

Она вдруг запустила обе руки в волосы и приподняла их: два черных крыла выросли над ее головой.

– Хорошо, – пробормотал доктор Груберт, – не нужно сейчас. Я позвоню вам.

Он вышел под дождь, забыв у нее в прихожей зонт. Улица была пуста, ни одного такси.

«Я ведь абсолютно ничего не знаю о ней, – вдруг, словно протрезвев, сказал он себе. – Не знаю, когда умер у нее муж, что случилось с дочкой. Она ничего не рассказала мне, да и я ей тоже. При этом мы близки, и я видел ее обнаженной. Что это такое? Разве это нормально?»

Прошлым мартом, бродя по галерее живописи в Вашингтоне, доктор Груберт наткнулся на портрет своего сына.

На него смотрел юноша, застывший вполоборота с прижатой к груди рукой. Из-под бархатного черного берета свисали тонкие пряди. Всего поразительнее был его взгляд – туманный, отстраненный и пристальный одновременно. Голубые, заволоченные глаза смотрели прямо на доктора Груберта, но при этом совершенно не интересовались им, а отражали то ли какую-то тревогу юноши, то ли его нежелание с кем-либо соприкасаться.

Это был Майкл, хотя на табличке стояло другое имя: Биндо Алтовити, Рафаэль, 1515 год.

Болезнь Майкла по-настоящему обнаружилась, когда они с женой решили развестись. Незадолго до этого у Айрис появился Дик Домокос, но это уже неважно. Они развелись бы и без него.

Постоянные их стычки из-за Майкла только подливали масла в огонь.

Доктор Груберт до последней минуты делал вид, что с Майклом ничего особенного не происходит.

– Саймон! – кричала Айрис. – Неужели ты ничего не замечаешь? Посмотри на его лицо! Очнись, Саймон!

Когда Майкл первый раз исчез – они искали его с полицией – и, наконец, сам появился через два дня – голодный, с измученными глазами, – доктор Груберт почувствовал себя так, словно его изо всей силы ударили сзади по голове.

И тут же все переменялось, словно и у него, и у жены разом кончились силы.

Айрис переехала к Домокосу, и Майкл, очевидно воспринявший ее поступок как предательство, стал уклоняться от встреч с матерью.

После этого его состояние еще быстрее ухудшилось.

Болезнь проявила себя в том, что он бросил Корнельский университет и почти прекратил разговаривать с людьми, за исключением двоих: отца и Николь.

Поначалу он много и жадно читал, потом забросил книги и целыми днями валялся на постели одетым. К телефону не подходил и никакой корреспонденции не распечатывал.

Ел и спал крайне мало. Однажды ночью доктор Груберт услышал, как сын стонет, и это испугало его настолько, что он долго не мог прийти в себя.

Ночной прыжок с высокого балкона дедовского дома в Сэндвиче стоил Майклу перелома обеих ног. Его увезли в ближайший госпиталь, а через неделю перевели в Филадельфийский институт психических заболеваний.

Тогда же, первый раз за несколько месяцев, доктору Груберту позвонила Айрис.

Он уже спал, был двенадцатый час ночи.

– Саймон, – она всхлипывала и давилась слезами. – Я стою под его окном. Там горит свет. Что-то они делают с ним!

– Чего ты боишься? – чувствуя отвращение к ее дыханию, спросил доктор Груберт. – Езжай домой и ложись спать.

– Как ты можешь спать, – закричала она, – когда на твоего ребенка надели смирительную рубашку? Ты чудовище, Саймон, я всегда это знала...

– Если я чудовище, – закричал он в ответ, – то кто же тогда ты? Мать, которая, бросив семью, переехала к любовнику – это, по-твоему, как?

– А что я могла? – опять она как-то липко, отвратительно вздохнула. – Вспомни, сколько лет ты не дотрагивался до меня! Вспомни, как мы жили!

– Ну, знаешь! – захлебнулся он. – Ты и сейчас о себе!

– Нет, это не я о себе, а ты, ты знать ничего не хочешь!

Тебе и в голову не приходит, почему это с ним случилось!

– У тебя что, есть объяснение, почему?

– Объяснения нет, но я все время думаю о нем, я пытаюсь проанализировать наше с тобой поведение, в чем мы виноваты...

– Никто не виноват, успокойся! У него органическое заболевание. К эмоциям оно не имеет никакого отношения!

– Ты никогда ничего не понимал! Для тебя все, что не твоя работа, все – «эмоции»!

И бросила трубку.

* * *

Оба они изо всех сил приспособливались к своей новой жизни.

Главное было как можно меньше встречаться, чтобы не читать в глазах друг у друга напоминание об общей боли. Нужно было как можно плотнее смешаться с остальным миром, которому не было дела до того, что двадцатидвухлетний Майкл с ангельскими волосами заперт в сумасшедшем доме.

Профессиональные успехи бывшего мужа, его блестящие лекции и показательные операции, которые нередко транслировались по телевидению, глубоко уязвляли Айрис. В конце осени она послала свою анонимную фотографию на кон-

курс обнаженной натуры, проводимый нудистским журналом «Pure Beauty after 40».¹

Фотография была напечатана и случайно обнаружена ассистенткой доктора Груберта Нэнси, которая, поколебавшись и вишнево покраснев, положила перед ним открытый журнал.

Брови доктора Груберта подпрыгнули вверх, и некоторое время он с искаженным лицом молча смотрел на коричнево-розовую, в каких-то прозрачных кружевах, средних лет женщину, лежащую на траве, усыпанной фиолетовыми цветами. Женщина склонила набок голову, и русые, с золотом, завитые волосы почти закрыли ей левую грудь, так что торчал только густого шоколадного цвета длинный сосок. Другая грудь была совершенно обнажена. Темно-каштановые колечки ее лобка тоже были слегка приоткрыты, и доктор Груберт со стыдом и поднявшейся изнутри ненавистью к ней вспомнил, как двадцать один год назад он держал ее судорожно разведенные в воздухе ноги в то время, как мокрый и красный затылочек Майкла, разрывая материнскую плоть, вылупливался на свет.

Самым отталкивающим на снимке было то нагло-смущенное выражение ее лица, которое он не выносил.

Только теперь, окончательно расставшись с нею, доктор Груберт понял, что действительно невыносимым испытанием за годы их совместной жизни были не скандалы и не раз-

¹ «Безупречная красота после сорока» (англ.).

ность интересов, не ее вульгарность и суетность – нет, самым тяжелым была эта наглая улыбка, эта назойливая веселость, за которой просвечивала боль от его постоянного равнодушия к ней и попытка скрыть это равнодушие ото всех.

В глубине души он догадывался, каково ей было в одиночку разыгрывать семейное счастье, наряжаясь, красясь, декорльтируясь, отпуская вольные шутки и намеки, но он не хотел лишнего подтверждения своих догадок и потому всякий раз брезгливо кривился, как только Айрис начинала, как говорил он себе, «дурачить публику».

В последнее время, незадолго до того, как они окончательно расстались, выражение ее лица в присутствии посторонних стало, на его взгляд, почти идиотическим.

Доктор Груберт чувствовал, что этот приклеенный оскал ослепительных зубных коронок громче всяких слов кричал всем и каждому, что Айрис раздавлена его нелюбовью, изуродована, и тут уж ничего не поделаешь, так что и эта вызывающая выходка с фотографией была не случайностью, а продолжением давно начавшегося разрушения.

* * *

...Он догадывался, что во многом похож на своего отца, настоящего имени которого так и не узнал.

В сороковом году двадцатилетний молодой человек, выросший в Эльзасе, неподалеку от Страсбурга, в чинной и глу-

боко порядочной немецкой семье, стал солдатом гитлеровской армии. В сорок третьем его тяжело ранило в Польше.

Бывший одноклассник выволок молодого человека с поля боя. Отступая, немцы забирали с собой своих раненых. В сорок четвертом, после долгого лечения в госпитале, будущий отец доктора Груберта был отправлен на Западный фронт и очутился в Париже. Тогда же он начал искать пути к отступлению и бегству.

Случай помог ему. Воспользовавшись документами убитого французского еврея из Эльзаса по имени Гюстав Груберт, он пробрался сперва на юг Франции, потом на Ближний Восток, где была полная неразбериха, и, наконец, на пароходе, битком набитом еврейскими беженцами, прибыл в Нью-Йорк.

Ни одна живая душа не подозревала о том, через что он прошел. У Гюстава Груберта была немногословная ложь вместо биографии, приветливая молчаливость и чисто немецкая исполнительность. В сорок седьмом году, работая механиком крупной автомобильной мастерской под Нью-Йорком, он познакомился с Бертой Дановской, родители которой погибли в Освенциме. Саму Бертю спасло то, что в тридцать восьмом она уехала в Париж учиться и в сорок втором бежала от нацистов в Португалию.

Они поженились, и через пять лет в семье родился мальчик, названный в честь погибшего в Освенциме деда – Шимоном.

Саймоном по-английски.

Его родители никогда не заводили разговоров о прошлом, не стремились к новым знакомствам, не соблюдали религиозных праздников. Между ними – так, во всяком случае, казалось сейчас доктору Груберту – существовало что-то вроде негласного договора: сберечь свою чудом спасенную жизнь ото всего, что может ее разрушить.

О прошлом своего отца он узнал только в день похорон, когда на небольшом уютном кладбище города Сэндвича выросла свежая могила – последний приют Гюстава Груберта – и мать, скупой, не поднимая светло-голубых глаз, унаследованных ее внуком Майклом, рассказала, кем был его отец и через что ему довелось пройти.

На секунду доктор Груберт подумал, что она просто потеряла рассудок от горя, но, всмотревшись в окаменевшее материнское лицо, понял, что это правда.

– Я сама, – тускло сказала мать, – узнала случайно. Тебе было два года, ты тогда сильно болел, очень сильно. Врачи ни за что не ручались. Я начала молиться. Отец услышал, как я молюсь, и признался. Может быть, он испугался, что Бог наказывает его за ложь и мы тебя потеряем...

* * *

Светлые голубые глаза, так же, как неистовое сострадание к животным, перешли к Майклу от бабки.

Жалость к бездомным собакам, перееханным колесами белкам, раненым птицам вызывала у него слезы и доходила до абсурда.

* * *

...Во сне доктору Груберту показалось, что он рубит мясо. От мяса пахло терпким потом.

Его передернуло от отвращения, и он проснулся.

Вечер, проведенный с Евой Мин, тут же вспыхнул в памяти, будто кто-то зажег в голове пучок ваты.

Перед глазами медленно раскрылась ее перламутровая шея, плечи, маленькая грудь, лепестки ногтей, ключица с родинками, живот, к которому он, обессилев, прижался лицом и тут же ощутил, как пульсирует то, что секунду назад было исторгнуто из глубины его собственного полыхающего тела.

Доктор Груберт вскочил с кровати, побежал в ванную и встал под горячий душ.

«Почему, – забормотал он, вздрагивая от слишком горячей воды, – почему моему отцу... – Вода прожгла спину, но мысли побежали быстрые и жгучие, словно их гнал огонь. – Почему отцу посчастливилось прожить жизнь с женщиной, которая так полюбила его? Хотя, кажется, кто, как не она, должна была бы возненавидеть его лютой ненавистью? Да что там возненавидеть! Заболеть от того, что ей приходится дышать с ним одним воздухом!»

Он замер, прислушиваясь к себе: ответ должен был прийти изнутри его самого. Лица родителей, как живые, стояли перед его глазами.

Мать была в маленьких круглых очках.

Отец седой, с бритвенным порезом на левой щеке.

«Как? – отплевываясь от льющейся в рот воды, продолжал он. – Как это вообще могло случиться? Чтобы два человека, прошедшие через такое, чтобы жертва и палач... Как они могли смотреть в глаза друг другу в течение сорока лет? Заниматься любовью?»

И снова ему вспомнилось, как утром, в день его рождения, мертвый отец лежал на траве, осыпанный лепестками жасмина, а мать стояла над ним в своей серой теплой шали на плечах, и оба они были одинаково неподвижны.

Словно жизнь только что – одновременно – оставила обоих.

«А может, я ничего не понял? Может, это и была ненависть, а я принял ее за любовь? Может, это была самая глубокая стадия ненависти, такая глубокая, что ничего другого не остается, как, стиснув зубы, жить вместе? Молча жить вместе?»

Он, обжигаясь, выключил воду.

«Не понимаю! – промычал он. – Я не понимаю! И почему именно сейчас все это пришло мне в голову? Именно сегодня?»

Из всех женских лиц, которые он когда-либо видел, это

нежное, с узкими глазами, это ее белое, как лилия, фарфоровое лицо было, без сомнения, самым красивым, но ведь не красота так подействовала на него!

Неужели же эта случайность – запах жасмина?

Ванная была полна пара. Он протянул руку к полотенцу и вздрогнул: в белом жарком тумане отделившаяся от него чужая, как ему показалось, рука сделала простое движение – сняла с крючка кусок ткани.

Станным показалось именно то, что этим движением рука словно бы предложила голому и беспомощному доктору Груберту продолжать быть спокойным, хорошо владеющим собой человеком и жить так, как он жил прежде.

* * *

В семь утра позвонила секретарша Вильяма МакКэрота, лечащего врача Майкла, и попросила его приехать.

– Что случилось? – закричал доктор Груберт. – Что с ним?

– Сейчас все в порядке, – ответила секретарша, – он спит.

Но нам нужна ваша помощь.

– Что с ним?

– Вчера доктор МакКэрот разрешил Майклу встретиться в городе с Николь Салливан. Они пошли обедать в Даун-таун. Доктор МакКэрот был абсолютно уверен, что Майкл достаточно стабилизировался за последние два месяца. Во время обеда – по словам мисс Салливан – Майкл начал умолять

ее бежать с ним в Европу и – более того – показал два билета на вечерний рейс в Рим. Нам неизвестно, как она отреагировала, но ночью, в клинике уже, у Майкла начался тяжелый приступ.

– Что-то новое? – убито спросил доктор Груберт. – Что-то, чего не было раньше?

Секретарша замялась.

– Доктор МакКэрот попросил меня связаться с вами.

* * *

...Сын лежал на спине с широко открытыми светло-голубыми глазами.

На лбу его почему-то был пластырь.

Приподняв вытянутую вдоль тела руку, он слегка помахал ею появившемуся в дверях доктору Груберту: «Па!»

У доктора Груберта ком подкатил к горлу.

– Майкл, – он неловко поцеловал его в висок. Правая щека Майкла непроизвольно дернулась. – Ты что, решил удрать в Рим?

– Удрать? – удивился сын.

– Удрать, – сглотнув ком, повторил доктор Груберт и пересел на кровать.

Ноги Майкла, накрытые одеялом, вздрогнули от прикосновения отцовской руки.

– А, – пробормотал он. – Нет, я...

– Как ты купил билеты?

– По телефону, – смутившись, ответил Майкл.

– Не понимаю! Откуда у тебя взялись деньги?

– Мне их подарили, – Майкл неуверенно улыбнулся, словно жалея отца. – Мне жутко нужны были эти деньги, па.

Главное – не спугнуть его.

– Кто подарил?

Майкл коснулся пластыря на голове своими почти прозрачными пальцами.

– Ты, кажется, испугался, па? – мягко спросил он. – Посмотри у меня в тумбочке. Там альбом, видишь?

Доктор Груберт открыл тумбочку, достал небольшой альбом. «Мастера итальянского Возрождения».

– Открой, – попросил сын. – Одиннадцатую страницу.

Доктор Груберт послушался.

– Портрет Биндо Алтовити, Рафаэль, 1515 год.

Майкл тихо засмеялся.

– Узнаешь?

– Ну и что? – взяв себя в руки, сказал доктор Груберт. – Ну, и при чем здесь Рим? Что ты там забыл?

– Кого! – тревожно поправил его Майкл. – Не «что», а «кого».

Доктор Груберт встал и отошел к окну. За окном шел легкий праздничный снег.

Он чувствовал, что нужно сказать Майклу что-то веское, решительное, одернуть его, выяснить, в конце концов, по-

дробности дурацкой затеи с билетами, но ничего не мог.

Сын лежал на кровати, до подбородка накрытый простыней, и казался гипсовым – до того он был тих и неподвижен, до того не принадлежал ни доктору Груберту, ни этим людям, суесящимся вокруг них, в клинике душевных заболеваний.

Но было и что-то другое, значительное и одновременно пугающее в том, как он лежал, улыбался и тихо перебирал складки одеяла невесомыми пальцами: доктор Груберт ощутил связь Майкла с чужим, непонятным, похожим на этот легкий снег, неторопливо идущий свысока, словно в Майкле была та же прозрачность, призрачность, отстраненность, та же готовность исчезнуть, уйти навсегда, от которой ему, его отцу, остается только надеяться, что это не случится так скоро.

Дверь приоткрылась и втолкнула лечащего врача Майкла по фамилии МакКэрот, высокого полного ирландца с багровым подбородком и темными маленькими глазами в густых ресницах.

– Как дела, Майкл? – спросил он и пожал неподвижно лежащую на одеяле руку Майкла. – Не тошнит?

– Если бы вы меня спросили, – усмехнулся Майкл, – тошнит ли меня, я бы вам ответил, но когда вы спрашиваете «не тошнит?», откуда я знаю, кого вы имеете в виду? Многих, наверное, тошнит сейчас, верно?

Он засмеялся, словно они с МакКэротом продолжали ка-

кой-то давний разговор.

– Ну, вот и хорошо, – понимающе отозвался МакКэрот, – и отлично! Добрый день, доктор Груберт!

Он пожал руку доктору Груберту и пригласил его к себе в кабинет.

– Что случилось вчера вечером? – спросил тот, едва МакКэрот закрыл дверь.

– Вчера вечером, – низко, как шмель, загудел МакКэрот, – он ужинал с Николь. Я сам разрешил отпустить его в город. Несколько дней назад Николь принесла ему альбомчик с репродукциями. Живопись Рафаэля. Там есть портрет некоего Биндо Алтовити. Находится в Вашингтоне. Но вы ведь знаете, о чем я говорю. Знаете?

Доктор Груберт испуганно кивнул.

– Знаете... Потому что именно вы недавно сказали Николь, что Майкл похож на этого самого Алтовити. Вы сказали просто так, не задумываясь. Николь купила альбомчик и принесла его Майклу. Майкл, как я понимаю, был потрясен, хотя и не подал виду. Это было примерно неделю назад. Но после этого все, чего мы добились, пошло насмарку. Вы меня понимаете...

– Не совсем, – хрипло сказал доктор Груберт.

– Раздвоение, – МакКэрот еще больше понизил голос. – Майкл чувствует, что он – это юноша на портрете. И одновременно он – это он, Майкл Груберт. Понятие времени как линейного движения для него не существует. Ему пред-

ставляется, что время – это некий объем, а в объеме нет ни настоящего, ни прошлого, ни будущего. Все эти философские тонкости, к сожалению, проживаются им сейчас не абстрактно, а глубоко лично и вызывают, как вы догадываетесь, большое напряжение. Вчера, после встречи с Николь, у него случился приступ почти что агрессии – заметили пластырь? Плакал, расцарапал себе всю голову. Этого раньше не бывало, он всегда вел себя очень спокойно.

– О Господи, – простонал доктор Груберт.

– Да, – кивнул МакКэрот, в то время как его маленькие глаза испытующе рассматривали доктора Груберта. – Тегри-тол очень помогал ему. Если бы не история с портретом...

– Моя вина! Всю эту кашу заварил я. Николь позвонила, и я сказал ей, что видел портрет Майкла в галерее...

– Мы-то в порядке, – словно сомневаясь, сказал МакКэрот, – то, что приходит в голову нам, не представляет опасности. Пришло и ушло. Здоровая циркуляция. Но тут раздражители задерживаются. Всасываются в глубину сознания... Я попросил вас приехать, потому что мы нуждаемся в вашей помощи...

Доктору Груберту хотелось изо всей силы стукнуться головой о стену. Как можно больнее.

– Нужно попытаться вернуть Майкла в эту жизнь, – с той же ноткой сомнения в голосе продолжал МакКэрот, – лекарства, разумеется, важны, но их недостаточно. Нужны отчетливые воспоминания, картины детства. Реальные вещи, по-

нимаете?

– Почему он стремится в Рим?

– Италия, ниточка к Рафаэлю. Вернее сказать, к этому самому Биндо Алтовити. Обратите, кстати, внимание на фамилию: «Alta» – на латыни «глубокая», но есть и второе значение: «высокая», «vita», как известно, – «жизнь». Можно и иначе повернуть: «altera vita» – «другая жизнь». Я итальянского совсем не знаю, и латынь у меня исключительно медицинская. Но звучит эта фамилия неслучайно...

Доктор Груберт посмотрел на него с удивлением. Мак-Кэрот смутился.

– Ко всему, – торопливо сказал он, – у Майкла появилась кредитная карта. Именно сейчас, как назло. Эти идиоты не понимают, что нельзя предлагать займы больным людям! Они прислали ему «Визу» на три тысячи. Я позвонил в кредитное бюро, объяснил, что человек находится в клинике по поводу обострения тяжелого психического заболевания. Сказал, что такими действиями они нам сильно мешают. Мне ответили, что юридически никто из них не имеет права со мной даже разговаривать. Просили, чтобы с ними связались опекуны или родители. Лишь бы нажиться. Майкл купил билеты по телефону, дал авиакомпании номер своей новой карты, и все. Они прислали билеты сюда, на адрес клиники. Честно говоря, никому и в голову не могло прийти такое. Они, оказывается, поощряют инициативу! Но вы понимаете, что Майкл усмотрел в этой истории совсем другой

смысл. Для него эти неожиданные деньги – подарок свыше...

Доктор Груберт вскочил и принялся ходить по комнате. За окном шел снег. Алтовити. Altera vita. Другая жизнь. Глубокая. Он вжал лоб в стекло. Высокая. Сын его болен. Болен его сын, сын...

Стекло стало горячим.

– Я понимаю, каково вам, – вновь загудел МакКэрот, – не знаю, как лучше: привлечь вашу жену или, напротив, изолировать ее? Майкл отторгает мать. С другой стороны, именно с матерью связана реальность детских воспоминаний. Я, кстати, не показывал вам то, что Джуди нашла у него в постели?

– Нет, – помотал головой доктор Груберт, не оборачиваясь.

– Смотрите.

Отодвинул один из ящичков письменного стола и протянул ему прозрачный пластиковый пакет.

Доктор Груберт открыл и высыпал на стол то, что было внутри пакета.

И тут же отпрянул в ужасе.

– Боже мой, – пробормотал он, – что же это?

Перед ним лежала груда старых фотографий, относящихся к детству Майкла. Айрис с сыном на террасе дома в Сэндвиче. Майкл с отцом на гавайском пляже. Мать, отец и младенец Майкл на руках у матери. Айрис в вечернем платье и шестнадцатилетний Майкл в смокинге на свадьбе у прияте-

ля доктора Груберта в Мичигане. Майкл обнимает мать за плечо, ему девять лет, он только что после кори. Доктор Груберт и Майкл перед Эйфелевой башней сразу после окончания школы. Айрис и Майкл в нью-йоркском Центральном парке, хризантемы, осень. Майкл с отцом на лыжном курорте. Снег блестит на солнце.

На каждой из фотографий у сына доктора Груберта была отрезана половина лица. Даже младенец на руках у Айрис испуганно таращился одним круглым ярко-голубым глазом.

– Что это значит?

Губы его вдруг онемели, во рту появился отвратительный горький привкус.

– Разное можно предположить, – грустно загудел МакКэрот, – разное... Самое простое объяснение – это то, что он хочет как-то выразить свою раздвоенность. Он хочет объяснить, что тот Майкл, которого все знают, есть только половина настоящего Майкла. Но, видите ли, тут есть еще кое-какие соображения...

– Какие? – тоскливо спросил доктор Груберт.

– Майкл очень умен, – МакКэрот вдруг повысил голос. – Я должен признать, что такого случая в моей практике до сих пор не было. Мы много беседовали с ним... Он со мной гораздо, гораздо откровеннее, чем с вами.

– Почему?

– Ну, во-первых, я все-таки врач, – вздохнул МакКэрот. – Имею некий подход. Кроме того, дети ведь отрываются от

родителей. Происходит это иногда даже жестоко. Я, честно говоря, полагаю, что это их подсознательная месть за свою младенческую зависимость.

– Месть?

– Месть. Больше всего человек боится унижения. Его и не собираются унижать, и в мыслях ни у кого нет, а человеку мерещится, и воображение у него работает: «А, вот этот не так на меня посмотрел! А, вот тот не так со мной поговорил!» И пошло, и пошло... Чего же вы хотите от ребенка? Он полностью принадлежит родителям. Бросьте младенца на улице, перестаньте его кормить – и все, младенца не станет! Сам он, конечно, этого не понимает, но подсознание его работает, уверяю вас! И там-то уж всюду сигнализирует: «Ты – никто, ты от них зависишь!» В раннем возрасте родители принимают выражение этой зависимости за любовь к себе. Это не любовь, к сожалению. Это страх потерять опору, источник для поддержания жизни, короче говоря, это страх собственной смерти.

– А любовь что же? Любви, по-вашему, вообще нет?

– Почему нет? На инстинктивном уровне любовь – это одно, на сознательном – совсем другое. С любовью вообще непросто. Но я не договорил. Со временем роли меняются. Родители начинают зависеть от детей. Сначала эмоционально – потому что привыкли к тому, что нужны детям, и требуют подтверждения этого, а потом физически – потому что стареют, слабеют, иначе говоря – сами оказываются в поло-

жении детей.

– Безотрадная картина. – Доктор Груберт сглотнул, наконец, горечь во рту. – И это что, без исключений?

– Почему без исключений? Ваш сын – лучшее исключение!

– Мой сын?

– Да, – осторожно сказал МакКэрот, – но это большой разговор.

Он пристально посмотрел на доктора Груберта, словно сомневаясь, говорить или нет. Лоб его покрылся мелким, как будто засаленным потом.

– Это большой разговор, – вздохнул он, – и я долго не решился... Вы можете отшатнуться от меня, можете даже перестать мне доверять. Профессионально доверять, я имею в виду. Но не поделиться с вами нельзя, потому что я самого себя перестану уважать. Если не сделаю этого. Дело в том, что, будучи врачом данной клиники и имея вашего сына в качестве пациента данной клиники, я обязан его лечить. Что я и делаю. Но, будучи просто человеком, Вильямом Генри МакКэротом, пятидесяти восьми лет от роду, доктором медицины, отцом двоих дочерей, и так далее, я должен признать, что в лице вашего сына встретил самое изумительное человеческое существо и счастлив тем, что мне выпало встретить его. Пусть даже при таких обстоятельствах.

– Вы хотите сказать, что Майкл не болен, – растерялся доктор Груберт, – или... что вы хотите сказать?

– Он болен, – сурово сказал МакКэрот. – И подобную болезнь мы, психиатры, определяем как глубоко неадекватное восприятие жизни, сопровождаемое опасной для жизни депрессией, и лечим таблетками. Но если на секунду забыть о медицине, а посмотреть его глазами... На эту самую жизнь, которой девяносто девять и девять десятых всех живущих на свете людей вроде бы адекватны... И, стало быть, здоровы. Что тогда, а?

Доктор Груберт, будто его загипнотизировали, боялся пропустить хоть слово.

– Ваш сын, – почти торжественно произнес МакКэрот, – обладает редчайшим видением окружающего. При этом *фактически* в поле его зрения находится то же самое, что и у всех остальных. Отличается только реакция. В медицине это называется экзистенциальным неврозом.

Он замолчал и испытующе посмотрел на своего собеседника.

Доктор Груберт наконец перевел дыхание.

– Давайте я попробую изложить вам, очень приблизительно, правда, то, что происходит с вашим сыном. Метафизику, так сказать, его болезни. Прежде всего, смерть. Что такое смерть? Почему она необходима? «Смерть – это то, что бывает с другими», – сказал поэт. Сказано красиво, но ведь непонятно! Куда мы уходим? Возвращаемся ли мы? Никто ничего не знает! Ни один! Предположения и домыслы! У вашего сына смерть еще в детстве вызвала, как я понимаю,

пристальный, так сказать, интерес. Сам факт ее. Нормально ли это, спрашиваю я вас как врач? Как врач отвечаю вам: нет, ненормально. Все знают о смерти, никому это не мешает. Но, когда ваш сын пару месяцев назад выпрыгнул из окна, это либо означало, что мысли его зашли в тупик и он не выдержал, либо... Предупреждаю вас: мне самому непросто все это сформулировать. Либо у него сложилось свое отношение к смерти, и он абсолютно перестал ее бояться. На чем держится это отношение? Не знаю.

Пойдем дальше. Люди. Что такое люди? Жутковатые существа, которые на протяжении всей своей истории только и делают, что истязают друг друга. Почему? Что тебе за удовольствие от того, что больно другому? Что за радость дырявить друг друга железками и травить газами, я вас спрашиваю? А ничего: все привыкли. – Темные глазки МакКэрта увлажнились. – Подождите, я не кончил! – Он повысил голос, хотя доктор Груберт не перебивал его. – Не нужно быть психологом, чтобы понять, что и без убийства в прямом смысле слова мы только тогда и сыты, когда пьем, фигурально выражаясь, чужую кровь. Что на взаимном мучительстве построено большинство человеческих отношений. Или вы со мной не согласны?

– Не согласен, – сморщился доктор Груберт. – Можно, конечно, смотреть на вещи так, но можно и иначе! Есть любовь, дающая человеку смысл всей жизни, есть счастливые сексуальные отношения, работа...

– Стоп! – вскрикнул МакКэрот. – Вы не убедили меня! То есть не меня, – он торопливо поправился, – вашего сына! Если человек с рождения переполнен жалостью – а в случае Майкла это именно так, – то у него на все иной взгляд! Любовь кончается, секс – тем более, животных убивают, чтобы съесть! Вы посмотрите, сколько муки вокруг! Сколько гадости! Но все мы живем и не думаем об этом, а ваш сын устроен так, что ему действительно, – поверьте мне, – ему взаправду немогуту! Он всякий раз, садясь сам за стол поесть, вспоминает, что вокруг голодные!

– Где – вокруг? – оторопел доктор Груберт. – Какие голодные?

– Вот именно, – с неожиданной готовностью откликнулся МакКэрот. Доктор Груберт услышал осторожную насмешку в его голосе. – Вы задаете совершенно правомочный вопрос! И я к вам, если хотите, присоединяюсь и полностью с вами согласен! Где – вокруг? Какие голодные? На Гаити? Да где она, эта Гаити?

– Вы, – вдруг разозлился доктор Груберт, – вы повторяете то, что всем известно! А у меня единственный сын, и я хочу, чтобы он был таким, как все! Чтобы он закончил колледж, начал работать, зарабатывать деньги, женился, чтобы у него были дети и чтобы я не боялся, что завтра Майкл – в ужасе от того, что люди мучают животных и убивают друг друга, – выпрыгнет из окна небоскреба! Слышите вы меня?

– Ваш сын, – вздохнул МакКэрот, – вам не принадлежит.

Он – самостоятельное, отдельное от вас существо. Вы просто посредник. С вашей помощью это существо попало в мир.

– Ну, положим, – побледнел доктор Груберт, – так что же мне делать? Устраниться, что ли?

– Кто вам сказал? – МакКэрот положил на стол свои пухлые, поросшие рыжими волосинками руки. Доктор Груберт подумал, что они напоминают ему мышей. – Как же? Цель нашего лечения в том и состоит, чтобы ему помочь, сделать вашего сына таким, как все! Мы с вами солидарны. – Он пошевелил пальцами. – Но ведь и я не машина, слава Богу! Я первый раз столкнулся с тем, что двадцатилетний мальчик чувствует так, словно сквозь него постоянно проходит чья-то боль! Не его! Чужая! Отношения к нему не имеющая! И я поражен, признаюсь вам...

– Вы говорите: боль! – перебил его доктор Груберт и вскочил со стула. – Если бы Майкл так чувствовал боль, разве бы он поступал так со своей матерью? Вам же известно, что он не хочет, чтобы она приезжала?

– С матерью, – затряс головой МакКэрот, – с матерью совсем не то, что вы думаете! Мать он сильно любил и очень боялся потерять в детстве. Он чувствовал, что она обижена вами, и жалел ее. Потом у нее появился любовник, и Майкл ощутил, что его предали. Он обиделся, как любой бы на его месте.

– Последний вопрос, – доктор Груберт опять сел, опять увидел двух пухлых, поросших волосками мышат на столе. –

Что вы думаете о его отношениях с Николь? Интимности ведь там, как я понимаю, нет?

– Об этом мы давайте поговорим в другой раз, – прогу-
дел МакКэрот, – и не потому, что я не хочу, а потому, что
у меня нет ответа. Думаю, что Николь сама объяснила бы
вам лучше. Но она не так проста и открыта, нет. И не только
Майкл влияет на нее, как принято думать, она на него влия-
ет не меньше. Он, хоть и подавлен лекарствами и грустными
мыслями, но ведь тут молодость, согласитесь, тут ведь гор-
моны... Ревность, страсть... да-да, страсть, хотя и задавлен-
ная, потому что мы же его этими таблетками лечим, лечим...

* * *

Клиника была недалеко от станции.

Доктор Груберт решил, что не будет ждать такси, пойдет
пешком. Снег только что кончился, и земля стала ровно-бе-
лой.

Ему показалось, что внутри этой белизны лежит что-то
прозрачное, робкое, словно бы живое, – такое живое и роб-
кое, что жаль наступать, пачкать эту белизну подошвами.

Завтра Рождество.

Он обернулся лицом к зданию госпиталя, из которого
только что вышел.

В окнах светились вспыхивающие золотом и серебром ел-
ки.

Он вспомнил, что отец иногда наряжал рождественскую елку во дворе. При этом само Рождество в их доме никогда не отмечали до тех пор, пока он не женился на Айрис, которая в первый же год их совместной жизни устроила пышный рождественский ужин.

Она же и окрестила новорожденного Майкла.

На религию в их доме было наложено что-то вроде табу. В подростковом возрасте, желая объяснить себе, почему ни мать, ни отец никогда не говорят на эту тему, он подумал, что пережитое за войну отвратило обоих от Бога, и вполне удовлетворился этим объяснением.

Многое в их жизни казалось странным, но он был занят работой, делами, да и вообще – что тут было обсуждать? Разве он догадывался? Пока мать не рассказала ему об отцовском прошлом, эта елка во дворе ровным счетом ничего не значила. Часть уличной декорации.

За спиной доктора Груберта послышались быстрые шаги. Он обернулся.

Николь.

– Что с вами? – она подбежала и схватила его за рукав. – Вам что, плохо?

– Нет, – пробормотал он, – с чего ты взяла?

– У вас такой вид, словно вас чем-то расстроили. Или вы заболеваете.

– Расстроили? Да. Я только что разговаривал с МакКэротом.

Она изо всей силы закусилла полную нижнюю губу.

– Жаловался на меня?

– Зачем ты это сделала? Ты же знаешь, что нельзя было Майклу показывать эту репродукцию.

– Почему нельзя? – вспыхнула она. – Как вам не стыдно! Запихнули его в клетку, и ничего, ничего не делаете, чтобы помочь ему!

Он давно заметил, что ее жесты и мимика отличаются какой-то электрической резкостью. Вот и сейчас она, вся вздрогнув, с силой закрыла рот ладонью.

– Николь, – вздохнул доктор Груберт, – Майкл нездоров. В чем ты упрекаешь нас?

– Вы хоть представляете, что он значит для меня?

Доктор Груберт не видел ее месяца три и невольно – как всегда при встрече с ней – поразился этой жгучей, все набирающей и набирающей силу красоте.

– Я никогда не понимал до конца, что вас связывает, – нерешительно сказал он. – Если можно, я тебя все-таки спрошу: ты ведь не спала с ним?

– Ох, – вдруг расхохоталась Николь, – вы-то откуда знаете?

* * *

...Майкл пришел домой раньше обычного, бледный и взъерошенный. Айрис немедленно пристала с вопросами.

Он закрылся в своей комнате. Через несколько минут позвонили из школы и попросили кого-нибудь из родителей приехать на экстренное школьное собрание.

Они поехали вдвоем.

На собрании сообщили, что Николь Салливан в десять часов утра была смертельно напугана попыткой изнасилования со стороны отчима, который с пятилетнего возраста заменял ей отца.

В десять пятнадцать Джек Салливан, глава небольшой компьютерной фирмы, покончил с собой, повесившись на собачьем поводке в подвале собственного дома.

Когда директор школы трясущимися губами вымучил эту короткую информацию, в комнате наступило глубокое молчание.

Потом все заговорили разом. Спросили, где сейчас девочка. Директор ответил, что девочка вместе с матерью завтра утром улетает в Италию к бабушке – так посоветовал психолог, ей необходимо сменить обстановку. Оказывается, что во время большой перемены мать позвонила в школу, потребовала директора, сказала, что муж ее только что покончил с собой, панически испугавшись своего поступка (она так и сказала «поступка»!), и что она сделает все случившееся широко известным.

– Скрывать больше нечего! – она раскашлялась в трубку. – Нужно спасти ребенка!

Грубберты были уверены, что в эту школу и в этот класс

Николь не вернется, но она вернулась, и с момента ее возвращения началась их с Майклом неожиданная дружба.

Почему она началась, о чем они говорили, почему стремились постоянно быть вместе, никто не знал. Им было уже тринадцать, но обычной между подростками влюбленности не замечалось, хотя они каждый день куда-то уходили: то в парк, то в тихую библиотеку соседнего колледжа, то просто сидели за закрытой дверью и разговаривали приглушенными голосами. Это продолжалось почти год, пока Николь с матерью не переехали в Бостон.

Линда Салливан получила там работу.

Но была и другая причина их скоростного бегства из Нью-Йорка: у Николь появились мужчины.

В школе стало известно, что она – в свои неполные пятнадцать – сделала аборт. Южная итальянская красота ее расцвела почти угрожающе, и всякий раз, когда Николь приходила к ним в дом и они уединялись с Майклом за закрытой дверью, доктору Груберту и его жене становилось не по себе.

Через полгода после переезда в Бостон она опять появилась в Нью-Йорке – одна, без матери, и сказала, что у Линды проблемы с наркотиками, так что им лучше жить порознь. Майкл спросил у родителей, можно ли Николь остаться у них – она хочет вернуться в старую школу.

Несмотря на молчаливый протест доктора Груберта, Айрис сказала, что можно, но с одним условием: если Линда согласится.

Она сама позвонила Линде, и та призналась, что у нее действительно проблемы, но в этом виновата Николь, с которой невыносимо тяжело. Ни один психолог не может с ней справиться, она издевается над подругами и над ней, матерью, но – добавила Линда – есть человек, которого она, похоже, действительно любит, и этот человек – Майкл.

Последнее признание испугало Айрис.

Николь прожила у них немногим больше месяца. Доктор Груберт так до конца и не понял, что произошло. На следующий день после бурного объяснения девочки с Айрис, в котором ни он, ни Майкл участия не принимали, приехала Линда Салливан и увезла свою дочь обратно в Бостон.

После этого доктор Груберт видел Николь всего несколько раз, хотя Майкл как-то обмолвился, что она нередко бывает в Нью-Йорке.

В самом начале сентября они столкнулись здесь, в клинике.

* * *

– Он, – сказала Николь и, вытянув шею, подставила под снег чернобровое лицо, – был у меня первым. До того, как мы с мамой уехали в Бостон.

– Что-о? Но ты ведь сделала аборт...

– Не бойтесь, к абарту Майкл не имеет никакого отношения. У нас это вообще... Ну, мы были вместе всего один раз.

Потом Майкл сказал, что он не готов. Я его, получается, соблазнила. Он сказал, что ему этого вообще не нужно. Потому что это только мешает ему любить меня по-настоящему. Тогда и появились эти ребята. Их было двое. Почти одновременно. Даже не знаю, от кого из них я тогда залетела...

Снег, ярко сверкающий под фонарем и почти незаметный в темноте, шел на землю.

– Десять лет назад, – сказала Николь, слизывая снег с оттопыренной нижней губы, – когда это произошло... Ну, вы понимаете... Меня все жутко жалели, будто я уже умерла. Особенно мама. Она все время рыдала. И все говорили, что он негодяй, мерзавец и сумасшедший. И никто не мог ничего сказать мне стоящего. Никто не понимал, как это мой отец, – она осеклась. – Как это мой отец – ведь он мне был все равно что отец, вы знаете – как он мог... Ну, и вот, – она опять облизнула губу, – и так это было и здесь, и у бабушки во Флоренции, куда мы поехали, потому что там, хотя все и делали вид, что ничего не знают, все равно все знали, и все ужасно жалели меня и ненавидели его, и маме очень сочувствовали. Мама все время рыдала. Никто даже не вспомнил, как он любил меня и как он обо мне заботился, и вообще, как... Будто этого не было. И я не могла ничего понять. Но я-то знала, кем он был для меня! И как он все для меня делал. И защищал от мамы. Я у нее спросила. Я хотела, чтобы она мне объяснила. Потому что, честно говоря, я ведь не знаю, за что она так набросилась на него тогда...

Доктор Груберт вытаращил на нее глаза:

– Кто на кого набросился?

– Ах, Господи! Я была больна гриппом, пошла принять душ, увидела, что нет полотенца, и крикнула ему, чтобы он принес. Он принес, я стояла под душем. У нас были ужасно простые отношения, я же считала его отцом. Я стояла спиной, и он меня обнял, завернул в полотенце. И все! У меня была температура, я жутко кашляла. Но тут ворвалась мама и стала кричать! И она так кричала, такое кричала, что... Она кричала, что давно это подозревала, что он патологический тип, что она его посадит в тюрьму, вызовет сейчас полицию... И он схватился за голову и убежал. А потом мама пошла в подвал, а там... Ну, и все.

– Так получается, что он...

– Да! – яростно задышала Николь. – Я вам рассказала все, что было! Но мама ненавидела его, у них очень не ладилось, он и не разводился с ней только из-за меня... Так что я не знаю, нарочно она это сделала или ей действительно пришло в голову, что...

– Какой кошмар, – застонал Груберт. – Какая чудовищная история! Как ты пережила все это?

– Кто вам сказал, что я пережила? Мы вернулись в Нью-Йорк из Италии. Мама хотела, чтобы я пошла в другую школу, но я решила, что вернусь в свою. Главное, что я не знала, как себя вести: делать вид, что меня действительно чуть ли не изнасиловали, и таким образом поддержать то, что го-

ворит мама, или, наоборот, рассказать то, что было, но тогда моя мама... Понимаете? У меня все внутри просто разрывалось. Я никого не могла переносить. Особенно когда я смотрела на мужчин, на мальчиков. Мне все казалось... ну, неважно...

Она наклонилась, подняла с земли пригоршню снега и прижала его к лицу. Глаза ее еще сильнее заблестели в темноте.

– Я вернулась в школу, и на второй, кажется, день ко мне подошел Майкл и сказал, что ему надо мне что-то передать. Он был ужасно растерянный, как будто не знал, что делать. Я спросила, что ему нужно передать, от кого. Он совсем растерялся, я помню. И сказал, что мой отец... Ну, в общем, что мой отец ему приснился.

– Шутишь!

– Нет, он так сказал. Приснился, и все. Что такого? Я не удивилась. Майкл сказал, что, когда я уже уехала к бабушке, ему приснился мой отец – а он хорошо его знал, потому что мой отец возил нас с Майклом в летний лагерь, вы, наверное, помните, в Маунт Дэй Кэмп?

– Значит, – прошептал доктор Груберт, скорее самому себе, чем ей, – значит, уже тогда он был болен, а мы ничего не подозревали...

– Болен? – презрительно протянула она. – Он никогда не был болен! Ни тогда, ни сейчас.

– Николь, милая, что ты говоришь?

– Что я говорю? – вскрикнула она. – Вы все считаете, что такие вещи только у Шекспира бывают, да? А откуда они взялись у Шекспира, вы не знаете? А я знаю: они взялись, потому что на сто тысяч миллионов людей, которые только и знают, что есть, пить, копить деньги, – на сто миллионов таких людей вдруг появлялся Майкл! Такой, как Майкл! И его тут же определяют в клинику! Вот и все! Зато обожают Шекспира и пишут про него книжки!

– Так что он увидел, – пробормотал доктор Груберт, – во сне или... где?

– Ничего страшного, – с гордостью ответила она. – Мой отец – Майкл сказал, что он был совершенно таким, как всегда, ну, таким, каким Майкл его запомнил, – мой отец очень беспокоился за меня и беспокоился, что со мной будет, и Майкл понял, что все эти подозрения, которые мы, то есть, я хочу сказать – моя мама в основном – на него навесили, все это просто...

Она не успела договорить, потому что в двух шагах от них, взвизгнув тормозами, остановилась машина, из которой вынырнул высокий человек в незастегнутом коротком пальто и белой рубашке.

Николь слабо ахнула и отступила в снег.

Не обращая на доктора Груберта никакого внимания, словно его вообще здесь не было, человек подпрыгнул к Николь, обеими руками схватил за плечи и слегка встряхнул:

– Я ведь просил тебя!

Николь попыталась вырваться из его рук:

– Как ты смеешь меня отслеживать!

– Никто тебя не отслеживает! Думай немножко, что ты делаешь!

– Тебя это не касается! – Она вырвалась все-таки и обеими руками вцепилась в локоть доктора Груберта. – Пойдемте отсюда, что вы стоите!

Все это заняло меньше минуты.

Человек в белой рубашке остался стоять рядом со своей машиной, а они быстро зашагали в сторону вокзала.

– Кто это?

– Мой любовник. Жених.

– Жених?

– Ах, Боже мой, какая вам разница? – разозлилась она. – Любовник, жених, сельскохозяйственные материалы и удобрения, компании по всему свету! Деньги – лопатой! Гребет! Хочет на мне жениться. Жить без меня не может.

– Хорошо-хорошо, – замахал руками доктор Груберт. – Какое мое дело! Доскажи мне про Майкла.

– Майкл, – медленно и нежно прошептала Николь, вдруг сразу вся успокоившись и выпустив его руку. – Вы о нем ничего не знаете. Вы очень несчастные люди. Майкл сказал мне, что это был настоящий ад, как вы жили!

У доктора Груберта потемнело в глазах.

– Мы? Почему ад?

Она пожала плечами.

– Ну, потому что никто ничего не понимал. Во всей вашей семье. Это так обычно бывает. Так же, как у моей мамы. Она ничего не понимает, но думает, что понимает все. Это у многих так. Все всем врут.

– Кто у нас врал?

Она с состраданием посмотрела на него.

– Все. Мы с Майклом поняли, что между ложью, которую человек произносит, например, и знает, что он лжет, – ну, когда он говорит: «Я тебя люблю», а сам при этом не любит или любит не тебя, – и ложью, когда человек просто сам не знает, где правда и в чем она, между этими двумя видами лжи, ей-богу, нет никакой разницы. Но если в первой лжи человек еще все-таки отдает себе отчет, догадывается, что она есть, то о второй он даже не подозревает. И это ужасное несчастье. Всех на свете, не только вас. Но это так не объяснишь, в двух словах...

Они уже стояли на перроне.

– Сейчас мой поезд, – сказал доктор Груберт. – Майкл собирался уехать в Италию? Это правда? И что, даже билеты были?

– Были. – Николь опустила глаза. – Но Майкл их разорвал. Потому что я сказала, что не поеду. Не могу. И расстаться с ним не могу. Тоже. Я просто не могу без него. Сразу перестаю понимать, что со мной происходит. Я попросила, чтобы он меня не оставлял. Пока. Хотя бы какое-то время. Ну и, кроме того, это действительно опасно: ехать одному в Ита-

лию, без денег, без ничего. Представляете, как вы бы перепугались? Он очень жалеет вас. Он знает, что вы и миссис Груберт с ума сошли бы от страха. А я отказалась ехать, потому что я *должна*, – она судорожно всхлипнула, – я *должна* выйти замуж. Вот за этого. – Кивнула в темноту за спиной. – Которого вы только что видели. Иначе он меня зарежет.

Голова у доктора Груберта пошла кругом.

Что она говорит?

Все сошли с ума, все, никто ничего не соображает...

– Ну вот, – прошептала Николь. – Я вас совсем запутала.

Вы лучше езжайте.

Тут только он сообразил, что она остается:

– Ты что, живешь здесь, в Филадельфии?

– Да, – отмахнулась Николь, – сейчас я живу здесь. Учусь.

В школе альтернативной медицины, какая разница?

Вдруг она близко подошла к нему:

– Я вам могу сказать, что со мной будет. – Заглянула ему в глаза. – Мне жить недолго.

Доктор Груберт обеими руками схватил ее за щеки:

– Да перестань ты!

Показался поезд, и платформа быстро наполнилась выпавшими из зала ожидания людей.

– Нет, это правда, – прошептала Николь, – вы увидите!

Не чувствуя ног, он поднялся по ступенькам, вошел в вагон, сел у окна.

* * *

Высокая чернокожая проводница с вытравленными перекисью оранжевыми волосами проверила билеты. Доктор Груберт взял себе чаю в буфете и начал медленно пить его маленькими глотками.

«Какая нелепость, — подумал он, — считать, что человек может что-то изменить, решить... Какая нелепость! Что я могу, например, сейчас? Ничего!»

Он отодвинул от себя чашку с чаем, закрыл глаза и откинулся на сиденье.

* * *

...Кажется, была очередная лекция в каком-то университете. Потом он сел в машину, чтобы ехать домой. Дома — он помнил — Майкл болел корью, и Айрис тоже чем-то болела, поэтому нужно было поторопиться, чтобы приехать засветло. Дорога шла из Олбани, расстояние неблизкое. Через полчаса он неожиданно очутился в городе, про который кто-то сказал ему, что это Лима.

Кто сказал, доктор Груберт не понял, но в то, что это именно Лима, столица Перу, поверил сразу.

Он поставил машину на площади и решил купить карту,

чтобы разобраться в дороге. Умом он понимал, что Лима – это абсурд, не мог же он из Олбани заехать в Перу, но реагировал на то, что с ним произошло, как на обычное обстоятельство.

На улицах Лимы было поначалу довольно много людей, и все они вели себя так, словно не видят доктора Груберта, хотя некоторые задевали его на ходу, а двое даже столкнулись с ним, перебегая дорогу.

Тогда он свернул в какую-то маленькую, ярко освещенную закатом улицу, будучи совершенно уверенным, что там он найдет киоск, в котором купит карту, но улица начала петлять и уводить его все дальше и дальше от центра.

Ему пришло в голову, что так можно окончательно запутаться и потом не найти свою машину, но опасение это было слабым, и доктор Груберт отмахнулся от него как от мухи. Постепенно он сообразил, что не знает испанского и ни к кому не сможет обратиться за помощью. То, что ни один человек в этом городе не говорит по-английски, тоже было почему-то понятно с самого начала. Доктор Груберт сунул руку в карман и обнаружил, что в нем нет ни кошелька, ни документов. Тогда он приостановился и сказал себе, что кошелек и документы остались в машине. Он помнил, что поставил машину на площади, и примерно представлял себе, куда нужно идти, чтобы вернуться к ней.

И тут что-то произошло с ним.

Доктор Груберт вдруг почувствовал, что ему хочется сме-

яться, и громко, во весь голос, расхохотался. Радость захлестнула его. Он был один, на краю света, без языка, без денег, без документов. Никто не замечал его. Все, что держало и привязывало к жизни, исчезло.

Остался один изумительный прозрачный холод освобождения.

Одновременно с этим у него слегка закружилась голова, потом откуда-то донесся негромкий прелестный звук, словно невидимый ребенок пытается выговорить слово «ил», но срывается и начинает заново.

Наконец доктор Груберт понял, что уходит, навсегда уходит, проваливается в белизну, полную блестящего звона, и это было хорошо, правильно, ничуть не пугало его и не удивляло...

* * *

Поезд резко остановился, и доктор Груберт проснулся. Кто-то, сидящий справа, но не рядом, а наискосок, внимательно разглядывал его.

Доктору Груберту стало не по себе.

– Если бы я был на вашем месте, – спокойно сказал сидящий справа, – я бы постарался обращать как можно меньше внимания на то, что мне говорят. Особенно женщины. Молодые особенно.

Доктор Груберт оторопел.

– Мы с вами только что виделись, – продолжал сосед, – вы, может быть, меня не запомнили.

Тут он узнал этот голос.

Высокий широкоплечий мужчина в белой рубашке, оставивший их по дороге на станцию. Тот, которого Николь аттестовала как своего любовника.

– А, вспомнили, – неторопливо сказал любовник, – Пол Роджерс. Разрешите мне пересесть к вам?

Доктор Груберт кивнул.

– Не затрудняйтесь, – сказал Пол Роджерс, садясь рядом с ним, – я все про вас знаю. Я знаю все, что касается моей невесты. Иначе нельзя.

Он сухо засмеялся.

– Я не держу частных детективов, не беспокойтесь. Она сама мне все рассказывает.

Доктор Груберт промолчал.

– Что вам снилось, – неожиданно спросил Пол Роджерс, – если не секрет?

– Снилось, что я попал в город Лиму.

– Лиму? Вы что, там бывали?

Доктор Груберт покачал головой.

Пол Роджерс дружески улыбнулся.

Он был немолод, лет сорока пяти, может быть, даже больше.

Очень широкие плечи, мощная грудная клетка. Спокойное лицо с крупными мягкими чертами, выпуклый лоб,

небольшая залысина.

Вытянул вперед ноги и, скрестив, положил их на свободное сиденье напротив.

– Я полагаю, что она успела вам сказать, кто я такой.

– Это вы про Николь?

– Ей хочется, – усмехнулся Пол, – чтобы жизнь была полна драм, страстей, вообще, всякого рода театральных эффектов. У нее очень плохой вкус, хотя тут я ее не обвиняю: наследственность. Мать – истеричка. А у нас будет обычная свадьба во Флоренции, человек, скажем, на двести, с подарками, букетами, платьем, за которое я заплачу пять тысяч долларов, и так далее. Все это – как она хочет доказать мне – ей не нужно, получается, что я ее вроде бы покупаю. А она мне уступает, как героини в романах Достоевского. Вы, кстати, читали Достоевского? Русский гений. Хотя я лично никогда не понимал, что уж там такого гениального?

– Подождите, – доктор Груберт затряс головой, словно пытаясь вытрясти оттуда лишнюю информацию. – Вы меня извините. Мы с вами совершенно незнакомы, видим друг друга первый раз в жизни. При этом вы со мной пускаетесь в какие-то откровенности относительно своих жизненных планов... Во Флоренции... Свадьба, Достоевский. Чепуха какая-то... При чем здесь я? Как вы вообще попали на этот поезд?

– Я так же, как и вы, – сухо ответил Пол, – еду в Нью-Йорк. У меня там квартира и офис. В Филадельфии я бываю пару

раз в неделю, но, к сожалению, вынужден снимать тут жилье для Николь, чтобы она могла находиться в одном городе с вашим сыном. Проще простого.

Доктор Груберт вздрогнул при упоминании Майкла.

– Вы снимаете ей квартиру? Чтобы она могла жить там, где...

– Именно так, – подтвердил Пол. – Звучит диковато, согласен. Вообще-то у меня есть и другие дела, кроме как кататься в Филадельфию. Дочка, например, ей четырнадцать лет. Я для нее и папа, и мама одновременно. Жена умерла.

– Откуда вы знаете Николь? Вы же ей тоже, простите меня, в отцы годитесь!

– При чем тут возраст? – усмехнулся Пол. – Биологический век мужчины вдвое длиннее, чем биологический век женщины. У Чарли Чаплина в девяносто лет родился ребенок. А если вас интересует, откуда взялась Николь, я вам отвечу: Джек Салливан был моим партнером, мы вместе открыли компанию. Через пару месяцев он покончил с собой. Из-за этой твари Линды, его жены.

– Вам что, известны подробности всей истории? – не удержался доктор Груберт.

– Да какой «истории»! – хмыкнул Пол. – Мыльная опера! Николь стояла вся в мыле, принимала душ, потом она попросила, чтобы Джек принес ей полотенце. Джек принес полотенце. Все. Линда уже тогда сидела на наркотиках. Она ворвалась в дом, застала Джека с полотенцем, открытую дверь

ванной и голую Николь. Разразился скандал. Она заорала, что у него эрекция. Джек побежал в подвал и повесился. Все это заняло не больше пятнадцати минут.

Доктор Груберт похолодел. Да, совпадает.

То же самое, что говорит Николь. Хотя кто, кроме Николь, мог сообщить обо всем этом Роджерсу?

– Ничего другого, поверьте, – резко сказал Пол. – Я знал Джека лучше, чем себя самого. Но у Линды выхода не было. Она искала способ сжить его со света. Ну, а потом, когда он повесился, что ей оставалось? Не хочется ведь жить с комплексом такой вины, верно? Вот она и заморочила Николь голову! Ей же, согласитесь, нужна была сообщница! Девка совершенно искалечена!

– Откуда вы все это взяли?

– Да что тут «взяли»? – со своим коротким сухим смехом отозвался Пол. – Во-первых, я тесно общался тогда со всем семейством и, можно сказать, присутствовал при семейной драме. После самоубийства Джека Линда и мне пыталась навязать свою версию, но я ее быстро вывел на чистую воду. Некоторое время она меня ненавидела, потом успокоилась. Джека безобразно похоронили. Поспешно, как настоящего преступника. На похоронах были только я и его сестра с мужем.

Он опять внимательно посмотрел в окно.

– Обычная супружеская история, полная говна и крови, как большинство супружеских историй. Джек ее терпеть не

мог, Линду, но боялся. У него были любовницы, и Линда об этом знала. Она его тоже почему-то ненавидела. Я так и не смог до этого докопаться. В конце концов Линда его уничтожила.

Он перевел глаза на доктора Груберта.

– Я вам, похоже, открыл велосипед. Тогда слушайте дальше. Я знал Николь ребенком, и ничего, кроме жалости, она у меня не вызывала. Потом она выросла, много воды утекло, и я ее опять увидел. Уже здесь, в Нью-Йорке, почти случайно. Тут-то меня переехало.

– Влюбились? – буркнул доктор Груберт.

– Да вот если бы так просто! Не влюбился я, а... У меня при виде ее наступает... Черт его знает, что это такое! Спазм какой-то, что ли... Мне ее все время не хватает. Как воздуха. Дикая жажда. Это похоже на болезнь, я знаю.

Доктор Груберт смутился.

– А она? – осторожно спросил он. – Вы думаете, она вас так же любит?

– Если бы! Она не только не любит меня, но с удовольствием сбежала бы сейчас, если бы только не зависела от меня целиком и полностью. Я же ее содержу. Линда не дает ей ни копейки, хотя изображает любящую родительницу.

– Она же может работать, Николь?

– Кто? Она? Когда ей работать? Они с вашим сыном решают мировые вопросы! У них времени ни на что другое не остается. Ищут дорогу к свету! – Он от души расхохотался. –

Эльдорадо! Работать мы с вами будем!

– Ну и ну... – Доктор Груберт потер ладонью лоб.

– Я не закончил, – перебил Пол, – это все чепуха. Главное, чтобы Майкл не перехватил ее у меня. Я хочу жениться и как можно скорее сделать ей ребенка. Трех детей, чтобы она была занята! Но ужас мой в том, что Николь как кошка влюблена в вашего сына. К счастью, он пока не отвечает ей взаимностью.

– Откуда вы знаете?

– Знаю. Но кому известно, что там случится завтра?

– Что же вы собираетесь делать?

Чувствовалось, что за окном резко похолодало.

– Я хотел предупредить вас, – упирая на каждое слово, сказал Роджерс, – вы не вздумайте забирать Майкла из клиники. Нам с вами необходимо выгадать время. Мой план: как можно быстрее свадьбу и ребенка.

– А если она не захочет?

– Захочет! Она уже два года спит со мной, и все в порядке. Я лучше ее самой понимаю, что ей нужно. Если бы вы знали, – он резко развернулся к доктору Груберту своим большим телом, – чего бы я ни отдал, чтобы освободиться!

Поезд остановился на какой-то станции.

– Это что? – Пол Роджерс взгляделся в темноту. – Нью-Рашел, уже? Почти приехали.

Придя домой, доктор Груберт нажал кнопку на автоответ-

чике.

«Саймон, – в голосе Айрис была смесь раздражения и заискивания. – Я была бы очень благодарна тебе, если в следующий раз, когда поедешь к Майклу, ты бы взял меня с собой. Завтра мы с Диком уезжаем кататься на лыжах, вернемся двадцать восьмого вечером. Ты знаешь номер моего мобильного телефона, он все время со мной...»

Доктор Груберт скривился от отвращения.

«Она, видите ли, уезжает на лыжах, но при этом хочет увидеть Майкла... Чтобы я ей это устроил...»

Больше на автоответчике ничего не было, и доктор Груберт затосковал: он ждал, что Ева позвонит, и то, что она этого не сделала, удивило его.

Звонить ей самому, просить о новой встрече?

Или подождать?

Он вспомнил анекдот, недавно рассказанный кем-то из пациентов: человек приходит к врачу и жалуется на расстройство нервной системы. «Чем вы занимаетесь?» – спрашивает врач. «Сортирую апельсины. В одну кучу бросаю те, что покрупнее, в другую – те, что помельче». «Прекрасная, спокойная работа». «Что вы, – вскрикивает больной, – я же каждую секунду должен принимать решение!»

«Позвоню ей завтра, – решил доктор Груберт. – И не с самого утра».

Долго никто не подходил, потом он услышал мужской голос с характерным для чернокожих людей заглыванием окончаний.

– Миссис Мин нет дома.

– Простите, с кем я говорю? – спросил доктор Груберт.

– С братом ее зятя, – ответили ему.

– Зятя? – удивился доктор Груберт. – Какого зятя?

Раздались гудки, но тут же телефон зазвонил снова.

– Саймон, здравствуйте.

– Ева, – чуть не закричал он, чувствуя, что от радости кровь обморочно бросается в голову. – А я ведь звоню вам домой!

– Я не дома сейчас, я в Нью-Рашел...

– Я только что звонил вам, там подошел какой-то...

– Да, там мой зять сейчас со своим братом. Саймон, если я попрошу вас приехать, вы приедете?

– Вы одна? – зачем-то спросил он.

– Одна.

– Я приеду, – пробормотал доктор Груберт.

Она открыла ему дверь большого, старого, по всей вероятности, давно нуждающегося в ремонте дома.

Судя по красному воспаленному лицу, она плакала уже давно, и сейчас – как только увидела его – заплакала снова.

Одной рукой придерживая дверь, другой она притянула его к себе, и доктор Груберт услышал стук ее сердца, такой близкий и громкий, словно оно колотилось внутри его, а не ее тела.

Обнявшись, они вошли в комнату.

Он опустился на первый попавшийся стул, и Ева оказалась у него на коленях.

«Какая худая, – быстро подумал доктор Груберт, – ничего не весит...»

– Это Фрэнк сказал тебе, что меня нет дома?

– Да, – ответил он, глядя ее горячие волосы и сильно волнуясь.

– Катя умерла два с лишним года назад, – всхлипнула она. – Я не сказала тебе. Она была замужем, остался мальчик. Саша. А Фрэнк – это брат моего зятя. Саше почти три года.

– Отчего она умерла?

– Какой ужас! – не отвечая, разрыдалась она. – Какой это все ужас! А я осталась!

– Разве мы вольны?

– Да! А что же? Я и хотела уйти, сразу, уйти за ней! Сразу же, в тот же день! Но потом началась эта мысль... – Она задохнулась от слез. – Господи!

– Какая мысль?

– Что у меня ничего не получится! Что я не знаю, как это сделать, я не знаю, не умею! И я ничего не сделала...

– Слава Богу, – прошептал он.

– Да нет! – Она судорожно вздохнула. – Нет! Но сейчас я нужна ребенку! А он не дает мне его! Это каждый раз такая мука – выпрашивать!

– Почему он его не дает?

– Потому что он идиот! Мой зять Элизе – идиот из Доминиканской Республики! Картежник! Марихуанист! Так я полагаю, во всяком случае. Вряд ли я ошибаюсь! Мы вернулись из России, где провели почти два года, ей исполнилось семнадцать. И через год она узнала, что ее мальчик, русский мальчик, которого она любила там, в Москве, погиб в Чечне! Его забрали в армию, и он погиб! А Катя... – Она зарыдала и опять закашлялась.

Доктор Груберт поймал себя на неожиданном ощущении: и телесно, и душевно его самого становилось словно бы все меньше и меньше. Казалось, что он плавится, как асфальт на солнце, становится мягким, вязким, расплывчатым, в то время как хрупкая, ничего не весящая Ева поглощает его, засасывает, и ее, наоборот, становится все больше, словно

они не могут занимать одинаковые объемы в пространстве и одному из них приходится уступить.

– Моя Катя, – влажным хриплым шепотом продолжала она, – сорвалась. Это был первый год колледжа, общежитие, а там ведь все это просто. Она получила письмо о том, что он погиб, и все! Начались наркотики, потом алкоголь. Чего мы только не делали! Ричард водил ее к гипнотизеру, к психологам! Вдруг она вроде бы опоминалась, давала слово, но проходила неделя – и все начиналось сначала! Она уже не могла учиться. Тогда-то он и появился, Элизе. Приехал из своей Пунта-Каны, совсем простой – отец черный, мать испанка, – без образования, без специальности, здесь у него только право на работу, даже гражданства еще нет! Семья вся там, в Доминиканской, в Нью-Йорке только старший брат, Фрэнк, таксист, он его сюда и притащил, наобещал ему золотые горы! Где-то они встретились с Катей. Где – не представляю! И она его выбрала. Чужого парня. И вышла за него замуж.

– Сколько они прожили?

– Чуть больше года, – всхлипнула она. – Родился Саша. Во время беременности она вроде бы бросила наркотики. Я почти успокоилась. Мне нужно было отлучиться, – Ева вдруг запнулась и ярко покраснела. – Мне нужно было слетать в Россию...

Доктор Груберт машинально кивнул.

– Что ты киваешь! – вскричала она. – Я полетела, потому что у меня там был любовник!

– Любовник? – он отшатнулся.

– Да, – она прижала ладони к вискам, еще больше сузив распухшие от слез глаза. – Да, любовник.

Ему захотелось, чтобы она встала с его колен.

– Мне это, – пробормотал он, – ведь необязательно рассказывать...

– Как же я... – не слыша его и глядя в одну точку, прошептала она. – Как я могла? Уехать? Но мне казалось, что она справится, родится ребенок, она молода, здорова... И я очень тосковала тогда без этого человека, который там, в Москве...

– На сколько же ты улетела?

– Надолго, – прошептала она, – надолго! Вместо двух недель пробыла там больше двух месяцев. Вернулась к самым ее родам. Она была очень бледная, с огромным животом...

Доктор Груберт увидел, как бледный, почти прозрачный Майкл лежит на больничной кровати.

– Она родила Сашу, и у нее почти сразу же наступила послеродовая депрессия. И все. Умерла от передозировки.

Ева порывисто поднялась, словно только сейчас спохватившись, что все это время она сидела у него на коленях, да так и осталась стоять рядом с креслом.

Доктор Груберт, ссутулившись, глядел в пол.

– Я, может быть, не должна все это рассказывать, – всхлипнула она. – Но ты для меня – особенный человек. Я

никому больше не рассказываю.

Он не понял, что она имеет в виду.

В конце концов, это, может быть, просто фраза.

В соседней комнате зазвонил телефон.

– Элизе, – вздрогнула она, – это он насчет Саши.

– Чего он хочет?

– Я попросила, чтобы он отдал мне Сашу на все рождественские праздники. А он назвал цифру: четыре тысячи. Я сказала, что у меня нет таких денег. Может быть, он немного уступит.

– Четыре тысячи? – не понял доктор Груберт. – За что?

Не отвечая, она сняла трубку и глазами показала ему, чтобы он взял другую, на кухне, дверь в которую была открыта.

– О'кей, я дам вам ребенка, – сказал хриловатый бас на ломаном английском. – Но мне нужны деньги. Хотя бы сроком на полгода. Никто не дает кредита. Просто – хоть подыхай!

– Сколько же ты хочешь? – спросила Ева.

– Четыре куса, мэм. И не потому, что я такой жадный, а потому – мне нужны деньги на бизнес, чтобы...

– Хорошо. Ты сегодня привозишь мне Сашу в Нью-Рашел и получаешь две с половиной, а через три недели, когда будешь забирать его, – еще полторы.

– Нет, мэм, так не пойдет. У меня, кроме всего, есть еще небольшой карточный долг. Эти деньги нужны мне сейчас, чтобы отдать долг и не бояться, что меня прирежут за то, что

я их не отдаю. Вам, конечно, наплевать, прирежут меня или нет, но ребенку нужен отец. А я не самый плохой отец, мэм. Так что, если вы не согласны, мы сейчас хлопаем дверь и уезжаем домой, а вы можете возвращаться, нас здесь уже не будет.

Доктор Груберт не выдержал – подошел и знаками показал, чтобы она прекратила разговор.

– Скажи, что все будет в порядке, при чем тут деньги, ерунда какая...

Она измученно посмотрела на него.

– Ерунда, ерунда! – он замахал руками.

– Хорошо, – прошептала она в трубку и тут же гибким и быстрым движением притянула к себе доктора Груберта. Он услышал, как на том конце провода тяжело вздохнул Элизе. – Привези Сашу сюда. У меня еще кое-какие дела здесь. Так что, пожалуйста, привези мне его сегодня в Нью-Рашел.

– Часа через два, мэм, – сказал Элизе.

* * *

...Они лежали на огромной, пахнущей сухими цветами кровати, принадлежащей, без сомнения, ее покойной матери.

Доктор Груберт подумал, что, до того как Евина мать умерла сама и до того как умер ее тихий муж, эта спальня перевидала всякого.

Хозяйкой ее была старуха, каждый вечер засыпающая на пахнущем сухими цветами полотне рядом со стариком, которого она не любила все сорок с лишним лет их брака, но с которым тем не менее отказалась расстаться, когда он умер, и предпочла иметь его при себе в виде урны, похожей на греческую амфору, – так что и это окно, и дерево за окном, и даже запах сухих цветов были свидетелями всего страшного и одновременно трогательного, что составляло их жизнь.

* * *

– Тебе хорошо со мной? – вдруг сказала она.

– А тебе?

Она слегка отодвинулась от него.

– Я дам тебе прочитать Катин дневник. Все равно я не смогу объяснить тебе всего. Мне хотелось бы, чтобы ты знал.

Доктор Груберт чуть было опять не спросил ее, по какой причине она выбрала именно его. За что? Откуда это немыслимое доверие к едва знакомому человеку?

– Ты, наверное, не понял, да? Почему я так плачу весь день и почему Элизе с братом у меня там, дома? Катин день рождения сегодня, ей двадцать три года. Они всегда приходят ко мне в этот день: Элизе с Сашей и Фрэнком. Чтобы отметить. Но мы так ужасно поссорились утром с Элизе! Он же все время требует у меня денег! Я сорвалась и уехала. Они остались, потому что я им там всего наготовила и елку

поставила. Саша не хотел уходить.

– Я сейчас выпишу тебе чек, – спохватился доктор Груберт.

– Я не должна брать у тебя деньги.

– Да ерунда, – смутился он. – Деньги – это самое простое.

– Когда они есть, – пробормотала она.

– Ева, не стоит об этом...

– Издательство, – сгорая не только лицом, но и шеей, и белыми худыми плечами, сказала она, – должно получить за учебник, который сейчас выходит, после Нового года сразу, тогда, надеюсь, я смогу...

«Господи, – с жалостью к ней и стыдом за себя подумал доктор Груберт, – мы же близки! Зачем она так!»

– Ева!

Она исподлобья посмотрела на него своими блестящими глазами.

– Я хочу, чтобы ты прочел Катин дневник.

Вышла в другую комнату и через минуту вернулась с собой тетрадь в руках.

– Вот. Ты побудешь еще, пока не привезут Сашу? Увидишь его.

* * *

Она что-то делала в кухне, отделенной от гостиной небольшим коридором. Кухня была ярко освещена зимним

солнцем. На деревянной дощечке лежала серебристо-сизая луковица.

Доктор Груберт вошел и осторожно положил чек рядом с луковицей.

– Спасибо, – сказала она. – Ты уже начал читать?

* * *

«16 ноября, среда. Мы здесь уже почти год, а папу все-таки всегда принимают за иностранца, и не потому, что он ходит в клетчатой курточке по снегу и морозу, и не потому, что говорит с акцентом. Папа здесь чужой, и все это чувствуют, но мама – другая. Ее принимают за свою, может быть, за какую-нибудь киргизку или туркменку, но никому и в голову не приходит, что она американка и приехала сюда из Нью-Йорка. Я была бы счастлива, если бы у меня был такой русский язык, как у мамы! Сейчас я проклиная себя за то, что отказывалась заниматься с бабушкой русской литературой, теперь это бы мне так помогло! На прошлой неделе мы начали читать «Войну и мир» Толстого, и я, зная, что скоро нужно будет писать сочинение по первым главам, сделала вот что: взяла в библиотеке «Войну и мир» на английском, а мама увидела и так меня отругала! Конечно, она права, ведь папа собирается жить в Москве еще, по крайней мере, два года, и мне нужно перестать выделяться. Тем более что у меня русские корни, и бабушка так и не выучила английского,

сидя в самом центре Америки, и всю жизнь говорила на нем ужасно коряво! А я говорю по-русски без акцента, но пишу очень плохо: представляю, сколько времени мне бы понадобилось, если бы я решила вести свой дневник по-русски!

Мама в Москве совсем другая, не такая, как в Америке. она то очень напряженная, то вдруг вся сияет. Все-таки у мамы такое невероятное лицо! Мы ехали вчера в метро, и я обратила внимание, что на нее все смотрят: и мужчины, и женщины. Я никогда не замечала в Нью-Йорке, что моя мама такая красавица.

6 декабря. Три недели ничего не записывала, потому что очень много было разных вещей в школе. Здесь не справляют католическое Рождество, а справляют православное, в январе, но Л. А. сказала, что, раз я учусь у них в классе, мы будем отмечать Рождество в декабре, и сделала небольшую вечеринку только для нашего класса. Все принесли вино, а мальчики – водку. Л. А. сделала вид, что это не позволено, а потом пила вместе со всеми. Я еще в прошлом году заметила, что ей жутко нравится Вартанян, потому что несколько раз во время контрольных я поднимала глаза и видела, как они переглядываются, и она вся красная. Не знаю, есть ли что-нибудь между ними, мне кажется, что есть. То есть я думаю, что они, конечно, спят, хотя ей не меньше сорока, а ему шестнадцать. Вартанян – огромный, с черными усами, и у него такой громкий бас, что лучше бы с таким басом петь

в опере, а не мучиться в школе. Он дико ленивый. Я думаю о том, что у нас бы такие вещи ни за что бы не прошли, уже был бы суд. Ведь это совращение малолетних. А здесь – ничего.

Наша школа считается одной из лучших, но все равно есть очень много странных для меня вещей. Ужасно, что ученики, в основном, конечно, мальчики, так рано начинают пить, буквально в тринадцать-четырнадцать лет, так что к восемнадцати оказываются совсем алкоголиками. Но все равно мне здесь нравится, и то, что меня так хорошо, дружелюбно приняли, тоже очень приятно, у нас бы это было иначе: присматривались бы полгода, а потом уж – как повезет.

Здесь девочки просто из кожи вон лезли, чтобы стать моими подругами, и все разговоры – просто очень, очень откровенные! Я знаю, что нравлюсь мальчикам, но вот уже год прошел, как мы здесь, а они все еще в нерешительности: все-таки я американка. У нас в классе, кроме меня и еще двух девочек, все уже давно не девочки. В этом русские ничем не отличаются от американцев.

8 декабря, суббота. Умираю. Вчера я услышала, как мама говорила по телефону. Я не подслушивала, просто так получилось. Я снимала сапоги в коридоре, и в это время зазвонил телефон в спальне, и мама подошла и стала разговаривать. Она не знала, что я дома. Ужас какой. У мамы любовник.

Я точно знаю, что это так, потому что никто не разговаривает таким голосом, если это не любовник, а просто знакомый. Она почти ничего и не говорила, только «да», «нет», «не знаю», потом вообще замолчала. Но в это время она слушала то, что он говорит! Я знаю, что у них нехорошо с папой, и, наверное, так было всегда, хотя папа на ней помешан.

У него очень тяжелый характер, это я тоже знаю, но мама эгоистичнее, чем он. Наверное, дело, как всегда, в сексе. Если люди не совпадают, им никогда не будет хорошо вместе, это химический процесс прежде всего. Я об этом много читала. Но что же теперь будет, если у моей мамы в Москве появился любовник?

А может быть, он не сейчас появился, а уже давно, с самого начала, как мы приехали?

11 декабря, вторник. Если бы я этого не узнала, какое бы это было счастье! Но мамина жизнь вся передо мной как на ладони, а папа ни о чем не догадывается! Она стала дико молодая, словно ей двадцать лет, и вся сверкает просто!

Только все время врет. Она говорит папе, что занимается рукописями и корректурами, поэтому ее никогда не бывает дома, что у нее то одна, то другая встреча, и все деловые, но я знаю, что это вранье. Иначе бы она так не выглядела. Вчера она зашла за мной в школу, потому что мне нужно было кое-что купить из одежды, хотя здесь жуткая дороговизна и хорошие вещи стоят, как в нашем «Гудменз».

Она зашла за мной в школу, и ее увидела сначала Надя, а потом уже я, потому что я задержалась после биологии, а Надя прибежала за мной и сказала, что у меня мама как модель. Мне это было и приятно, и почему-то гадко. Девочки пошли на нее смотреть, а я осталась стоять на лестнице и тоже посмотрела на нее совсем чужими глазами.

Она действительно как модель, потому что в Москве сбросила тридцать фунтов, и у нее лицо похоже на цветок.

Что же будет, если папа обо всем догадается? Я думаю, что он не переживет.

13 декабря. Я все еще очень многого не понимаю здесь, в России, и у меня очень много вопросов, но если бы не то, что происходит у нас дома, с мамой, все это бы меня сильно занимало, а так мне стало почти безразлично, потому что я все время помню, что у нас дома что-то ужасное.

Кроме того, мне все стыднее и стыднее за маму, что она так отвратительно врет. Я понимаю, почему, когда она на той неделе сказала папе, что едет в Питер, а там живет какой-то Бидов, и ей с ним нужно обязательно встретиться в четверг, и папа сказал, что они могут поехать вместе и остановиться в гостинице, и не нужно обременять мамину приятельницу, которая замужем за новым русским и живет сейчас в Питере, – теперь я понимаю, почему мама стала красная и сказала папе, что она уже обещала, что приедет, и что ее ждут, и что это не совсем в Питере, а в Комарове, где приятельница

живет на даче, и туда приедет этот Бидов или Битов со своим новым романом, так что папе совсем незачем туда тащиться на два дня, потому что он еще не оправился после тяжелого гриппа, а в поездах жарко, и на улице холодно, так что, как только он выйдет из поезда на улицу, его сразу же продует, и он снова заболит.

И папа ей поверил! Он все время к ней присматривается, все время хочет быть там, где она, и все время дико злится на нее за то, что она исчезает. Я это заметила еще давно, еще дома, в Нью-Йорке, но там я не обратила на это внимания, потому что, во-первых, была маленькой, а во-вторых, дома все свое, и я там своя, и все привычно, а здесь все чужое и я чужая, и с меня словно бы содрали кожу, так что я чувствую каждую, каждую пылинку. А тем более – маму!

Мне кажется, что мы должны здесь все держаться вместе, все дружить больше, чем мы дружили дома, но мама предает нас с папой, и даже не тем, что она в кого-то там влюбилась, а тем, что мы здесь – как в открытом море, и нас должно быть трое, а она хочет одна доплыть до берега, а мы с папой – как хотим, ей все равно. Я знаю, что папа ее любит гораздо больше, чем она его, но за это трудно на нее сердиться, мы еще два года назад говорили об этом с Хилари, у которой тоже такая история дома, только наоборот, потому что там мама ужасно влюблена в папу, а папа от нее только что не бежит, хотя, когда гости или родственники, они оба, и папа, и мама, делают вид, что все в порядке. Хилари от этого просто лезет

на стенку, так ей стыдно за них обоих.

Мы это все обсуждали с ней, и Хилари правильно сказала, что люди в этом не виноваты, то есть они не виноваты, кого они любят или не любят, за это нельзя сердиться на человека, просто потому что у него так что-то устроено внутри, что он эту женщину или этого мужчину любит, а эту женщину или этого мужчину не любит и не хочет, хотя бы они были первые голливудские красавцы.

Хилари считает, и я с ней согласна, что любовь – это химический процесс, а всякая дружба или совпадение интересов – это совсем другое, но мне страшно, что моя семья рухнет здесь, в Москве, и мы с папой останемся вдвоем барахтаться среди всего чужого, а мама с каким-то чужим человеком заживут так, как им хочется.

16 декабря. За мной уже несколько недель все время ходит Костя Прозоров. Он думает, что я этого не замечаю, потому что он делает вид, что ходит не за мной, а за Лидой. Но мы с Лидой очень подружились и почти все время вместе, и она очень умная, и сразу мне сказала, что дело вовсе не в ней, потому что они знают друг друга с шестого класса, и никакой любви не было, а наоборот: когда они все ездили в прошлом году на дачу к внуку какого-то их знаменитого певца – я не помню фамилию – и там все жутко перепились, так только они вдвоем – она и Костя – остались без пары, потому что друг другу они совершенно безразличны, хоть пья-

ные, хоть трезвые. (Я знала об этой поездке, но меня мама с папой никуда, ни в какие компании не пускают, потому что всего бояться, хотя и любят русскую культуру!)

Конечно, Костя сейчас использует Лиду для прикрытия, это не очень хорошо с его стороны, но вообще он мне, конечно, нравится, и когда я сказала Лиде, что, когда он подходит, у меня начинает гореть лицо и немножко тянет низ живота, она сказала, что – все, у нас с ним химия и с этим нельзя бороться.

20 декабря. ООООООООООООО! Я не могу! Зачем мы сюда приехали! Я не могу! Все было так хорошо, а теперь... Так бы и писала только одно: не могу, не могу, не могу! Я опять слышала мамин разговор, но теперь я слышала ВСЕ! Не знаю, что у них здесь творится с телефонами, но я позвонила домой и попала прямо в разговор мамы и этого человека!

Я сказала «але!», но они меня не услышали и продолжали говорить, и я тоже не положила трубку, хотя знаю, что это преступление – ворваться в чужую интимную жизнь, но ведь это моя мама, и, в первую очередь, она принадлежит не чужому человеку, а папе и мне, и мне нет никакого дела, что она влюблена, потому что мы заехали в Москву, где нам нужно жить вместе и поддерживать друг друга, и мы здесь больше семья, чем в Нью-Йорке, так что если мама нас с папой предаст, то мы этого не переживем, что-нибудь обяза-

тельно случится, я это чувствую.

(Почему мне, кстати, все время кажется, что мама может нас предать? Почему про папу ничего такого мне в голову не приходит?)

Мама сказала ему: «Ты не позвонил вчера, я ждала». «Я только ночью, – сказал он, – прилетел из Эстонии, у меня родилась внучка». «Я, – сказала мама и отвратительно засмеялась, – оказывается, люблю не только чужого мужа, но и чужого деда». «Да, – сказал он, – думаю, что тебе пора меня бросить». Мама замолчала, и он истерически как-то крикнул: «Ты что, решила меня бросить?» И она сказала: «Я чуть с ума не сошла, пока тебя не было. Все дела запустила». Тогда он ужасно тяжело задышал в трубку, я прямо услышала, как он глубоко дышит – всем животом, и почти увидела его, хотя я не знаю, как он выглядит. «Ты можешь вырваться сегодня?» – спросил он. «Я могу, – прошептала мама, – ты когда закончишь?» «У меня, – сказал он, – репетиция до десяти». «Мне неудобно, – сказала мама, – что я так поздно возвращаюсь каждый день. Хотя он спит».

И я поняла, что это она о папе! А папа действительно спит! И я тоже спала раньше, и даже не знала, когда она возвращалась, но теперь я больше спать не буду, нет, теперь все по-другому!

«Ты хочешь, – сказала мама, – чтобы мы сегодня поехали на дачу? Но ведь поздно уже». «Я не могу без тебя больше двух дней, – сказал он и ужасно тяжело вздохнул, буд-

то штангу поднял, – а мы уже четыре не виделись. Хочешь, чтобы я умер?» И мне стало гадко, что он так говорит, как в каком-то романе или на сцене, но если у него репетиции, значит, он связан с театром, может быть, он даже актер.

(Хотя, если у него родилась внучка, значит, ему сколько лет? И как же она влюбилась в старика?)

А потом мама сказала: «Погладь меня» – и я чуть не закричала! И он сказал: «Не могу. Не выдержу». А мама почти пропела каким-то шепотом напополам со звоном, словно она сейчас полетит: «Ну, немножко».

И он начал ее гладить! И я это чувствовала! Я чувствовала, как чужой гладит мою маму по всему телу, и это было так...

Я не могу, не могу, не могу!

Потом мама сказала так слабо-слабо, словно умирает: «Ну, все. Иди. Обожаю тебя». Он сказал: «В десять».

И тут же раздались гудки.

Я вышла из автомата и почему-то увидела, что снег на улице ярко-розовый с черным, и люди тоже черные с ярко-розовым, и какие-то жуткие разводы по всему небу.

Жуткие!

Потом я поняла, что плачу и это у меня что-то с глазами».

* * *

Доктор Груберт поднял голову от страницы. Ева вошла в

комнату.

– Может быть, – негромко спросил доктор Груберт, – не стоит, чтобы я это читал?

– Стоит.

* * *

«22 декабря. Пытаюсь понять свою маму. Главное, что этим нельзя ни с кем поделиться. Ни с Хилари, ни с Лидой – ни с кем. Смешно! Чуть не написала: «Ни с папой». Я должна все это понять сама.

Может быть, я не имею права ее осуждать. Потому что я всегда чувствовала, что она так несчастлива с папой.

Мы вообще – несчастная семья. А здесь – особенно. Потому что здесь – мы приехали из Америки и уедем в Америку, где – как здешние люди думают – все богатые, а тут Россия, и столько материальных проблем. Но получается, что у меня только здесь раскрылись глаза на все, и на моих собственных родителей, потому что там, дома, я была маленькой девочкой и ничего не понимала.

Хотя у нас и раньше были ужасные сцены. Я так помню ту, ночью, которая меня перепугала два года назад.

А это было вот как: папа всегда почему-то периодически обижался на маму, он просто не мог жить без того, чтобы раз в неделю на нее ужасно не обидеться и не сделать ей какой-нибудь гадкой сцены, и даже от меня это было невоз-

можно скрыть, потому что, когда у папы начинается истерика, он ничего, кроме себя самого, не слышит и не помнит.

Я уже легла спать, у них начался какой-то разговор, и я через стену почувствовала, как папа накаляется. Он сказал маме: «Посмотри, у нас на столе живут эти крошечные муравьи». Мама ответила: «Муравьи? Откуда они взялись в такой холод?» «Неважно, – сказал папа, – они взялись вот от этого цветка, но ты подойди сюда и посмотри». И я уже по голосу его услышала, что ничего хорошего не будет. «Видишь, этот муравей тащит маковое зернышко из пирога? Ты видишь или нет?» «Я вижу, – сказала мама, – и что?» «Он ведь его тащит не для себя, а всем! Ты видишь это или нет?» «Видю, – тихо сказала мама, – и что?» «А то! – закричал он, – то! Только ты привыкла жить для одной себя! И мне надоело с этим считаться! Иди и зарабатывай! Ты даже в редакции перестала появляться!» «У тебя истерика, да?» – спросила мама.

Я знаю, что вопрос у нас в доме никогда не заключался в деньгах, потому что иногда папа просто сходил с ума, не знал, что для нее сделать, и покупал ей все, что мог, хотя она даже и не просила, так, например, он вдруг взял и купил нам прекрасный дом на Лонг Айленде, который все равно потом пришлось продать, потому что мы не могли за него выплачивать, но когда он вдруг начинал вот так вот кричать, да еще о деньгах, это значило, что ему очень хочется как-нибудь маму оскорбить, и как можно больнее, потому что у

него уже началась истерика.

Конечно, не из-за денег, а от какой-то ужасной на маму обиды, но тогда я не понимала, на что он так обижается, а теперь, кажется, начала понимать!

«Оставь меня в покое, – сказала мама с такой ненавистью, что я вся похолодела, – сколько можно мне мстить за то, в чем ты сам виноват?» «Ты посмотри на себя! – закричал папа, – неужели ты думаешь, что еще можешь вызывать у меня какие-то эмоции?» «Слушай, – сказала мама, – если ты не успокоишься, я приму меры, обещаю тебе!» «А почему бы тебе не освободить меня от себя? У тебя ведь, кажется, есть дом, где жила твоя мать, он ведь теперь свободен, вот туда и проваливай! – сказал папа. – Освободи меня!» «Хорошо, – ответила мама, – завтра мы начинаем разводиться, а сегодня оставь меня в покое!» «А зачем нам ждать до завтра? – закричал папа. – Давай начнем прямо сейчас!» «Ты разбудишь ребенка», – сказала мама. «А ей все равно придется с этим столкнуться, – сказал папа, – она все равно узнает, кто ее мать!» «Кто же я?» – спросила мама. «А ты не знаешь, кто ты?» – прошипел папа. «Я не знаю, – вскрикнула мама, – я знаю только, что, что бы я ни делала, меня не за что упрекать, потому что я всю жизнь ужасно несчастна с тобой!» «И я с тобой, – сказал папа, – и лучше это немедленно закончить!» «Ты не со мной несчастен, – каким-то ужасным хриплым голосом сказала мама, – ты вообще несчастен! Ты не любишь жизнь, никогда не любил! Никогда не хотел жить!

Ты – ошибка природы! Ты вообще не должен был родиться, потому что твоя мать тебя не хотела! Такие люди, как ты, которых не хотят, которые рождаются по случаю – они не должны жить, они сами мучаются и других мучают!» «А-а-а?» – закричал папа. «Да, – сказала мама, – я желаю тебе как можно скорее умереть, чтобы и самому освободиться, и меня отпустить!» «Освободиться? – сказал папа, а я лежала ледяная под одеялом и думала, что, если бы мне предложили в этот момент умереть, я была бы только рада. – Так чего мы ждем?»

И он чем-то зазвенел, потом открыл холодильник.

«Так ты этого хочешь, и прекрасно! Сейчас ты это получишь! Смотри! Ну, смотри!»

Я не выдержала, выбежала из своей комнаты и бросилась к ним.

Никогда не забуду: папа держал в руках шприц, наполненный, как я сразу поняла, этим его инсулином, который он колет себе два раза в день, но ему полагается не полный шприц, а какая-то определенная доза. Он задрал рубашку, словно сейчас всадит этот шприц в кожу, и был белым-белым, не только лицо, но вообще весь был ужасно белым, потому что он ведь седой, хотя еще и не старый, и довольно кудрявый, и стричься не любит, поэтому у него белые кудрявые пушистые волосы, как у женщины, и когда он стоял с этим шприцем, то волосы поднялись, а все лицо дрожало, и мама была тут же, но она сама была словно мертвая, окаменевшая,

и смотрела при этом на папу так, словно она и в самом деле хочет, чтобы он всадил в себя эту огромную дозу инсулина!

А на лице у нее была такая тоска! Такая просто страшная тоска, невозможная! И я никогда не забуду этого, никогда, никогда не забуду! Хотя они тут же, как только я выбежала, спохватились, и папа сделал вид, что ему пора делать укол, а мама спросила, почему я не сплю.

Вот такой был в моей жизни ужас.

23 декабря. Я, кажется, один раз видела этого маминого человека, когда мы только приехали сюда. У нас была куча гостей, все с нами знакомились, и среди гостей действительно был один то ли режиссер, то ли актер, очень приятный.

И мама потом упомянула, что он только несколько лет назад, как переехал в Москву из Эстонии, его пригласили что-то ставить в московском театре, и он здесь остался. Я его лица совершенно не помню. Но он высокий, намного выше папы, и, кажется, очень симпатичный внешне.

И еще мне кажется, что тогда он был с женой. Она рыженькая, курносая. Хорошенькая, кажется.

Но, может быть, я их с кем-то путаю?

Костя Прозоров подошел ко мне после литературы и сказал: «Давно собираюсь спросить, откуда у тебя такой хороший русский язык? У тебя даже акцента почти нет! Что, у вас в Нью-Йорке все так хорошо разговаривают?» Я сказала, что у меня бабушка русская, и мама с бабушкой всегда гово-

рили по-русски, а дедушка со стороны мамы был китайцем, но и с мамой, и с бабушкой, своей женой, он тоже говорил по-русски, а папа у меня русист, и у него докторская диссертация по теме «Небесное и земное в творчестве Федора Михайловича Достоевского».

Так что мой папа тоже на этом русском языке слегка повернулся и, когда я росла, все сделал, чтобы научить меня говорить по-русски так же, как по-английски. Меня и книжки заставляли читать, и в русский детский сад отдавали, и в гости водили к эмигрантам, я даже русские мультфильмы смотрела, пока росла.

«Так ты – китаянка, – сказал Прозоров и засмеялся, – а я смотрю и думаю, откуда у тебя эти глаза?» И он показал двумя пальцами, какие у меня глаза.

У нас бы на такие штучки следовало обидеться, потому что это расизм, но мама меня предупреждала, что в России это не так, и я не обиделась, только немного удивилась.

«Я хочу проводить тебя до дому, – сказал он, – или еще лучше – давай сходим куда-нибудь. Хочешь в кино?» Я согласилась, но нам оставалось еще три урока, и я думала, что не дождусь, так у меня все болело, потому что Костя сидит сзади, за последним столом, и я чувствовала, как он смотрит мне прямо в шею, поэтому у меня все и болело, и пекло, как раз с того места на шее, на котором были его глаза, и этот жар шел ниже, до самого таза.

Я попалась. Пора мне становиться женщиной, лучше с

этим не затягивать, иначе начнутся всякие психологические проблемы. Не дай мне Бог. Но хочу ли я этого с ним? И здесь, в Москве, откуда я все равно уеду?

Обо всем этом я думала, пока ждала, когда же, наконец, закончатся эти проклятые уроки, а когда они закончились, у меня так дрожали ноги, что я еле-еле дошла до раздевалки, где он меня ждал, и мы пошли.

Когда мы вышли на улицу, я увидела, что за то время, что я была в школе, стало тепло, почти как летом, и надвигается гроза.

Гроза в январе! Это что-то немыслимое! Такое бывает только в России!»

* * *

Доктор Груберт вспомнил, что несколько дней назад, когда он спешил в ресторан на свидание с ее матерью, тоже, как ни странно, была гроза.

* * *

«Мы шли по Тверской, народу было не очень много, но нас все равно почему-то все толкали и задевали локтями. Сначала он молчал, потом рассказал, что его отец в прошлом был летчиком, потом стал заниматься бизнесом, но неудач-

но, и у него теперь депрессия оттого, что приходится жить на те деньги, которые зарабатывает мать, а мать очень активная и энергичная, она бросила то, что раньше делала, и пошла в бизнес по продаже недвижимости, а чтобы это приносило хорошие деньги, занимается продажей квартир для новых русских, которых ни Костя, ни его отец терпеть не могут, и от этого у отца депрессия, а Косте его жалко, потому что он сам похож на отца, а не на мать, которая очень, как он сказал, любит всякие компромиссы.

Я подумала, что мне, наверное, тоже надо что-то ему рассказать о своей семье, иначе получается, что он открыт, а я нет, и это некрасиво, но тут же я поняла, что говорить о нашей семье просто невозможно, особенно теперь, когда все упирается в то, что у мамы есть любовник, а папа этого, если узнает, ни за что не переживет.

Мы зашли в кафе, где Костя заказал мороженое, пиво и кофе, и никто не спросил у него подтверждения, что ему двадцать один год, а пиво продали просто так, у них это можно. Я съела немножко мороженого и выпила весь стакан пива, которое называется «Бочкарев», и у меня тут же закружилась голова, и стало очень весело.

«Куда ты хочешь пойти?» – спросил он, и я увидела, как он вдруг побледнел и даже какая-то белая пленка выступила в левом уголке его губ. А у меня заломило низ живота так, что я еле поднялась.

«Хочешь в кино?» – сказал он.

«Пошли», – сказала я.

Мы пошли в кинотеатр «Художественный» на какой-то дурацкий американский боевик, и во всем зале не было никого, кроме нас!

И, как только мы сели, он меня обнял и начал целовать. Я целовалась много раз там, дома, но никогда ничего похожего! У меня так кружилась голова, и все немело – и руки, и ноги, – и ничего более необыкновенного никогда не было со мной в жизни, ничего более чудесного.

Только очень хотелось плакать, потому что, пока он меня целовал и мне было так хорошо, я вдруг – как назло – вспомнила про маму и, чтобы не думать об этом, вся вжалась в Костю, прямо в его шею и грудь, а на нем была одна тоненькая рубашка, потому что куртку он сразу снял, и я слышала, как у него колотится сердце.

Мы целовались раскрытыми губами, и он языком доставал до самого моего горла, и такого у меня, конечно, никогда и ни с кем не было. Я поняла, чего он хочет, и, наверное, я сама хотела этого, и ничего не боялась, но мы все-таки были в кинотеатре, и хотя здесь у них все очень просто, но я чувствовала, что этого нельзя допустить, и оторвала его от себя.

Он забормотал: «Что, что, что? Катюша, Катя, что?!»

И я сказала: «Ты с ума сошел? Пошли отсюда!»

И побежала из зала, а он догнал меня с моим пальто, и мы оказались на улице. Там уже наступил глубокий вечер, но все равно было тепло, и ветер дул такой теплый, что мне

показалось, что в нем был даже запах моря, как у нас на Лонг Айленде.

«Пойдем куда-нибудь», – сказал Костя и опять поцеловал меня в губы. Но я почему-то сказала: «Подожди, не надо». «Что не надо? – спросил он. – Если мы оба этого хотим?» «Сегодня не надо, – сказала я, – мне пора домой». «Я буду стоять под твоими окнами всю ночь, – сказал он, – пока ты не выйдешь ко мне». «А если пойдет снег, – спросила я, – и вообще будет холодно?» «Тогда я превращусь в медведя и буду стоять. Ты не читала такую сказку, как человек превращается в медведя от любви?» «Нет, – ответила я, – не люблю сказок». «Дурочка, – сказал он, – а я люблю».

И опять поцеловал меня. Мы дошли до моего дома и у самого подъезда столкнулись с мамой, которая вылезала из такси в своей длинной шубе и маленькой белой шапочке. И опять она была похожа на модель!

Она увидела нас и вся просияла. Но это не оттого, что она нас увидела, а просто потому, что она так счастлива в той, другой своей жизни, и ей нужен любой повод, чтобы это показать.

Она потащила нас наверх и начала кормить и рассказывать про какой-то случай в метро, и я видела, что Костя смотрит на нее с удивлением. Потом он ушел, а я не стала делать уроки, а пошла к себе и сразу легла спать.

Мы живем в «высотке» (так называются высотные здания, которых здесь, в Москве, несколько, их строили, когда пра-

вил Сталин!), и я стояла и смотрела то вниз, то вверх, на небо. На небе была луна с оторванным подбородком, а внизу бежали машины. И почему-то я поняла, что все это уже было. Вернее, не поняла, но так почувствовала, потому что вдруг увидела все это со стороны: и себя, и свою маму, и Москву, – все, все, все, включая луну с оторванным подбородком.

Было все это уже.

Точно так, как сейчас, уже было.

Но когда и какая была я?

28 декабря. Если бы я не знала, что у мамы есть своя история, я бы рассказала ей, что со мной происходит.

Мы с Костей уже два дня как вместе. Все это оказалось гораздо проще, чем я думала. В пятницу мы не пошли в школу, а поехали в Барвиху на электричке. Там есть настоящие дворцы за заборами, их охраняют солдаты с ружьями, а есть просто деревня, называется Никольское, где топят печки и воздух пахнет, как у нас на Рождество, елками. И немного хрустит от холода.

Мы сошли с поезда, и я спросила у Кости, зачем он меня сюда привез. Он сказал: «Погулять», – и я подумала, что, может быть, и правда: он привез меня погулять. Мы пошли в лес, но гулять там почти невозможно, потому что снегу по колено, хотя светило очень яркое, просто летнее солнце, и эта путаница зимы с летом была такой, что все время хоте-

лось смеяться.

Я прислонилась головой к стволу, и Костя тут же начал меня целовать так же, как тогда, в кино, а когда я хотела оторвать голову от ствола, оказалось, что она не отрывается, потому что там стекала смола, и мой затылок приклеился! Потом мы легли на снег, и снег забился везде – под одежду, и в волосы, и в рот, и в глаза, – но тут же начал таять, потому что мы были страшно горячими!

Я испугалась, что сейчас Костя начнет раздевать меня прямо здесь, в лесу, но он вскочил – весь в снегу, с красным лицом, – схватил меня за руку, и мы побежали обратно в деревню. Я увидела, что нам навстречу идет женщина от колодца, и это было как на картинке: высокая женщина в сером платке и в валенках, изо рта валит пар, а в каждой руке по ведру, и вода в ведрах ярко-голубая, как в океане.

Костя постучался в первую попавшуюся дверь, на нас залаяла собака, сидевшая на огромной ржавой цепи – жалко мне этих русских собак! – а потом вышла на крыльцо старуха без единого зуба, но в очках, настоящая ведьма из русской сказки. Костя сказал, что я – его сестра и нам нужно где-то остановиться на пару часов, потому что он вывихнул ногу и нужно полежать, чтобы потом ехать в город.

Старуха посмотрела очень подозрительно, но Костя тут же вытащил деньги и сунул ей в карман, так что она наспустила в дом. Там были две крошечные комнатки со стенами, увешанными фотографиями, в основном черно-белыми

и тусклыми, и было ужасно жарко, а пахло кислым, как будто испортилась какая-то еда. Старуха впустила нас в ту комнату, где стояла высоченная – прямо до потолка – кровать, и много на кровати всяких подушек, которые старуха все собирала и унесла, как будто мы могли их украсть.

Она закрыла за собой дверь, мы слышали, как она завела телевизор, и по телевизору шли новости.

Он раздел меня, все-все с меня снял, и мне стало холодно в этой очень жаркой комнате. У него тоже руки стали просто ледяными. И тогда я сказала почему-то по-английски: «Please, don't...»²

Мы стояли и смотрели друг на друга, и он ничего не делал, даже не дотрагивался до меня. Наверное, это выглядело дико: он стоял в куртке, а я перед ним – совершенно голая. Но мне совсем не было стыдно, наоборот! Только хотелось плакать. А потом он очень быстро все с себя стянул. Я ничего не боялась, потому что он был самый родной на свете, и то, что он так дрожал и боялся до меня дотронуться, делало его еще роднее. Мне было почти не больно, ну, совсем чуть-чуть. А говорили, что у некоторых это вызывает чуть ли не шок или отвращение. Мне вообще сейчас пришло в голову, что вся папина затея с Москвой и с тем, что он нас сюда потащил, и с этой школой, нужна только для того, чтобы был этот день, когда мы с Костей лежим вот так, на этой кровати, и крепко спим.

² Пожалуйста, не надо...

Мне показалось, что мы действительно спали, но, может, мы не спали, а просто провалились, и, когда я очнулась и посмотрела на чью-то руку, я не сразу поняла, чья это рука: моя или его.

Наступил уже вечер, и я перепугалась: что подумают мама с папой? Где я? Костя лежал рядом со мной и глубоко дышал, и он был такой милый! И тут из меня что-то полилось. Это была кровь. Слава Богу, что ничего не успела испачкать. Я сползла с высоченной кровати, оделась и вышла в другую комнату, где старуха смотрела телевизор.

Я извинилась и спросила, можно ли мне в уборную. Она кивнула головой за окно. Значит, уборная на улице! Такого я еще не пробовала, но делать было нечего, и я пошла на улицу. Я остановилась на протоптанной в снегу тропинке и из всех сил вдохнула этого очень холодного елочного воздуха. Показалось, что я проглотила большой кусок немножко кислого, твердого, вкусного яблока.

Все было очень хорошо, и снег переливался вокруг, потому что на небе было много звезд. Главное – я нисколько не переживала, что, вот, я иностранка, совсем из другой жизни, заехала черт знает куда!

Наоборот – мне все было так просто и весело: даже то, что уборная – огромная яма в кривом, в человеческий рост скворечнике, а содержимое забросано чем-то белым, сильно пахнущим, и то, что я потом мыла руки ледяной водой из рукомойника, такой холодной, что пальцы заболели, а поло-

тенца не было, так что я вытерла руки о свитер.

«Катя, куда ты ходила? – спросил Костя, как только я вошла обратно в эту нашу комнату. – У тебя болит что-нибудь?»

Я легла рядом с ним, не раздеваясь и совсем не стесняясь, и сказала ему, что со мной было. «Сильно?» – спросил он. «Нет, ничего», – сказала я и подумала, что два часа назад он мне был, честно говоря, никто, чужой человек, а теперь мы можем **так** разговаривать!

«Ты не сердишься на меня?» – спросил он. И я вместо ответа поцеловала его в губы и погладила по всему лицу.

«Катя, – сказал он, – я не хочу, чтобы ты думала, что у нас это просто так. У меня это было, честно говоря, с другими, но это все как небо и земля, понимаешь?»

Я знала, вернее, я, конечно, догадывалась, что я у него не первая, и, когда он это сказал, сначала было мне неприятно, а потом, когда я увидела, как он на меня смотрит – жалобно, и, как маленький, боится, что я обижусь, – мне стало просто безразлично. Ну, было и было. Это ведь совсем другое.

Я вернулась домой в четверть первого, у нас было темно в квартире, я сразу шмыгнула в душ, а когда вышла, увидела почему-то только папу, а мамы не было. Папа был очень грустным и старым.

Я что-то быстро соврала и спросила, где мама, и он ответил, что мама опять улетела (или уехала, я не поняла) в Петербург, потому что у нее там дела.

30 декабря. Завтра Новый год. Меня пригласили в компанию, где Костя тоже будет, в гости к одной девочке из класса, которая мне не очень нравится, но у нее большая квартира, она живет с матерью, и мать уезжает, так что все принесут еду и алкоголь и можно остаться до утра.

Я спросила у мамы, можно ли мне пойти, и мама сказала, что нет, нельзя. Я обиделась, стала кричать на нее, что я уже взрослая и что это у нас, в Америке, похищают подростков, а здесь никто никого не похищает, и мне надоело так жить, будто мне пять лет. Но мама была как стена.

И тогда я спросила: «Почему ты только себе разрешаешь личную жизнь, а мне запрещаешь? Может быть, у меня тоже любовь?»

Не знаю, не представляю, как это из меня вырвалось! Я увидела по ее лицу, по тому, как оно сначала стало ярко-белым, потом ярко-красным, что она все поняла. Наверное, она решила, что я ее где-то подкараулила или еще что-то. Но она умеет выкручиваться! Она сказала: «Мне сорок лет, а папе пятьдесят два. Тебе – шестнадцать. Разница все-таки, правда?»

То есть она сделала вид, что я это говорила о ней и о папе! В общем, я никуда не пойду и буду дома, ну и черт с ними, лягу спать! А Костя сказал, что тогда он тоже никуда не пойдет и будет стоять под моими окнами. Но папа утром тридцать первого, когда я еще валялась в кровати, вошел ко мне

и говорит: «К нам зайдут друзья в десять часов, и потом мы с ними пойдем на Красную площадь смотреть салют и, может быть, на часок в ресторанчик тут, неподалеку. Хочешь, пригласи к себе кого-нибудь».

Я обрадовалась и сразу позвонила Косте, там подошла его мама, которую я никогда в жизни не видела. У нее красивый голос, но по голосу слышно, что она много курит, она спросила, кто говорит, и я сказала, что это Катя Гланц из школы. И я слышала, как она крикнула Косте: «Иди, американка твоя!»

Откуда она знает? Может быть, у меня все-таки акцент? Ну и пусть. Мне совсем не хочется с ними знакомиться. Главное, что он придет и мы в Новый год будем вместе. Ведь вместе – главное».

* * *

Доктор Груберт снял очки и попытался представить себе эту девочку, но у него ничего не получилось. Вместо девочки выплыло лицо Евы, потом Николь, потом опять Евы.

* * *

«1 января. Сейчас ночь, первая ночь нового 1996 года, и я должна непременно записать все, что произошло, чего бы

мне это ни стоило. Костя пришел в четверть двенадцатого, мои родители и их друзья только что ушли. Я думала, что мы сядем за стол, но он схватил меня на руки и спросил: «Которая твоя комната?» И понес прямо туда на кровать. Мне уже совсем не было больно, и такое счастье, что мы есть и мы вместе.

Он так нежен со мной, так ужасно ласков, сейчас я уже чуть-чуть больше соображала, чем тогда, в деревне, и разглядела, какое у него было лицо. Глаза закрыты, а все равно кажется, что они блестят. И, когда все кончилось, он закричал! Я прошептала ему: «Тихо!» Мы не встали с кровати даже тогда, когда начали бить часы, просто я сбегала в столовую и принесла шампанское, а потом опять легла, и мы выпили это шампанское, когда Костя уже был внутри меня.

Я, правда, почти весь свой бокал пролила.

«Желаю тебе, – сказал он, – чтобы каждый Новый год мы встречали только так. Слышишь?»

И я с ним согласилась. Потом мы приняли душ, оделись и сели за стол, и нам было жутко смешно. Мы все время умирали от смеха, просто не могли смотреть друг на друга. А потом зазвонил телефон, и я подошла.

Женский голос, довольно приятный, но, как я почувствовала, полный слез, сказал мне: «Позовите господина Гланца». «Его нет дома, – ответила я, – что-нибудь передать?»

И тут она – как завопит!

«Передать! Передать! Что его жена – проститутка и мразь,

передай, пожалуйста! Что она приехала в нашу страну и ничего лучшего не придумала, как отбивать чужих мужиков! Что я ей желаю как можно скорее сдохнуть, и чтобы ни одна собака о ней не вспомнила!»

Я не успела даже бросить трубку, потому что там, на том конце провода, началась какая-то борьба, словно у этой женщины хотели вырвать трубку, а она не давала, пытаюсь что-то еще мне прокричать, и наконец раздались гудки! Я опустилась на стул, как будто меня толкнули со всего размаху, и у меня было темно перед глазами.

Костя, кажется, перепугался, а я только думала, слышал ли он, что она там кричала, потому что, если слышал, я не буду врать (какой смысл?). А если все-таки не слышал? Тогда я должна быстро что-нибудь придумать: не рассказывать же такое! Даже ему! Но он, конечно, почти все слышал, потому что спросил: «Хочешь побыть одна? Я пойду». И я кивнула, не глядя на него, так мне было стыдно.

Мне было стыдно так, что я не могла пошевелиться. Так стыдно, что я не могла даже взглянуть на него, пока он одевался в коридоре, и, если бы можно было умереть в эту самую минуту – только чтобы никогда больше не вставать, не двигаться, ни с кем не разговаривать, – я бы тут же согласилась.

Он уже открыл дверь, но я – сама не знаю почему – бросилась ему на шею. И он меня очень крепко обнял. Слава Богу, что он ни о чем не спрашивал!

Слава Богу! Мы постояли в коридоре, обнявшись, потом он ушел, а я пошла в свою комнату, погасила свет, легла и стала думать, что мне теперь делать. То, что звонила жена маминого бойфренда, это ясно. То, что она еще будет звонить и непременно нарвется на папу, – тоже ясно. Значит, в моих руках сейчас вся наша судьба. Моя, мамина и папина. Я говорила себе, что надо успокоиться и принять самое правильное решение, но меня мучила почти ненависть к маме за то, что она такое с нами сделала. И за то, что Костя слышал весь этот кошмар! Что он теперь будет думать о нас? Обо мне? Я ненавидела и этого ее бойфренда тоже, потому что он, так же как и мама, заботился только о себе, о своем удовольствии и ни о ком не подумал!

Его жену, которая нам позвонила, я ненавидела потому, что она посмела назвать мою маму таким словом и вообще вела себя омерзительно, позвонив нам в новогоднюю ночь и наговорив мне всего этого!

Папу я ненавидела потому, что мама не любила его, а он делал вид, что все в порядке, хотя ничего у нас не было в порядке, и все это ложь, и, если мама не любила его, нужно было честно смотреть правде в глаза!

Но больше всего я ненавидела себя за то, что во мне столько злобы ко всем ним, и я, оказывается, никого не люблю, кроме Кости! Мне хотелось пойти в ванную и вымыться под горячим душем – так меня всю трясло от злобы! Я боялась, что Костя не захочет приближаться ко мне, услышав все это,

или он решит, что я такая же, как мама, или еще что-то!

Господи! Как мне было плохо! Я, наверное, заснула, провалилась и проснулась потому, что они пришли. Я видела их сквозь щель в приоткрытой двери – как они вошли, румяные и веселые, и мама была в своей белой шапочке и длинной шубе, а папа без очков, в клетчатой курточке, толстый и довольный, и с ними пришла эта парочка их московских друзей, и они сразу сели за стол, и мама засуетилась и побежала в кухню, а папа завел негромкую музыку, но мама тут же вернулась и показала глазами на дверь моей комнаты, наверное, желая сказать, что он меня разбудит, но я почему-то вдруг громко крикнула: «Я не сплю, развлекайтесь!»

И тогда они вошли ко мне в комнату – мама и папа, со своими поздравлениями. Они поцеловали меня и ушли. А я записала все, что было. И решение мое вот какое: завтра я все скажу маме».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.